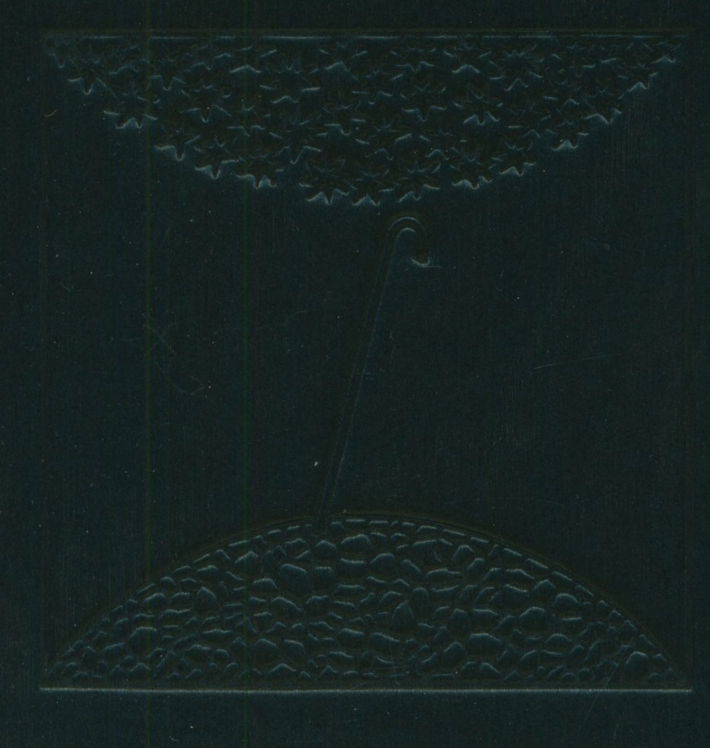
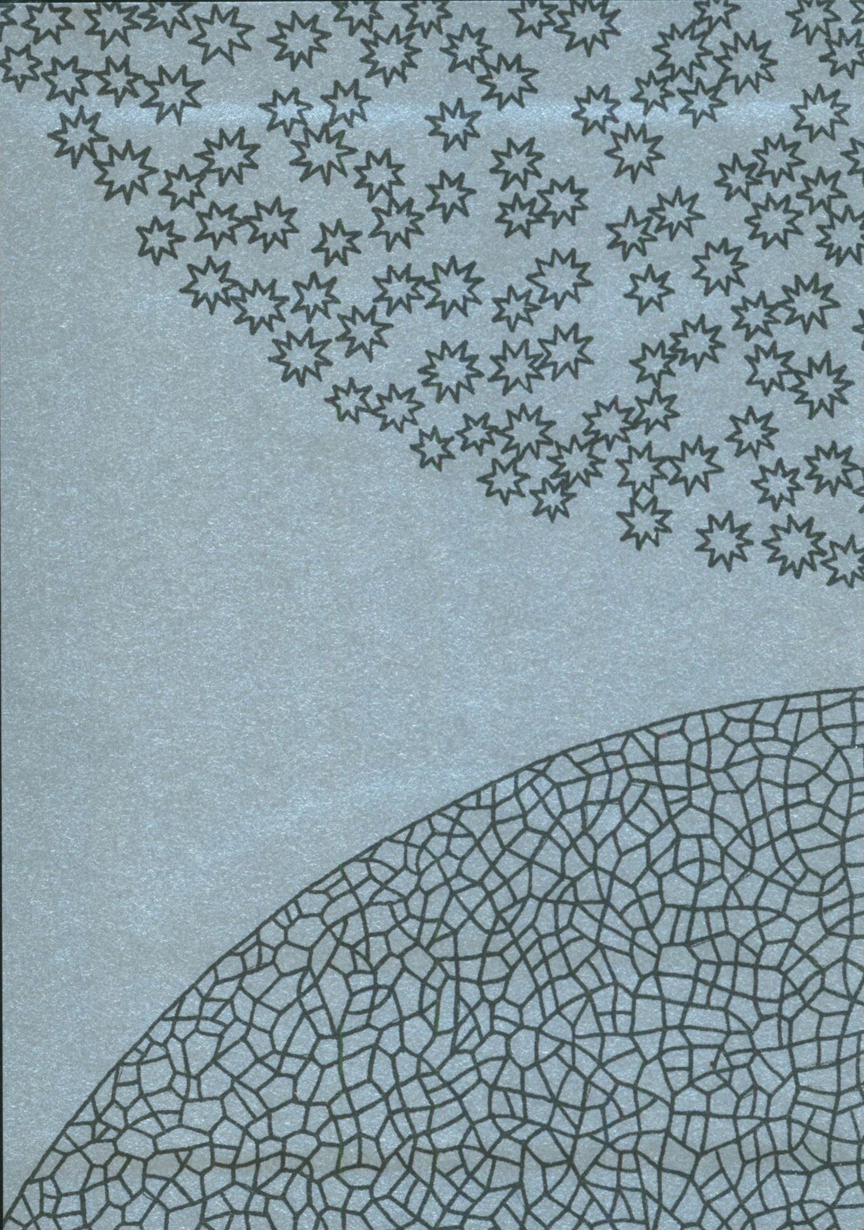
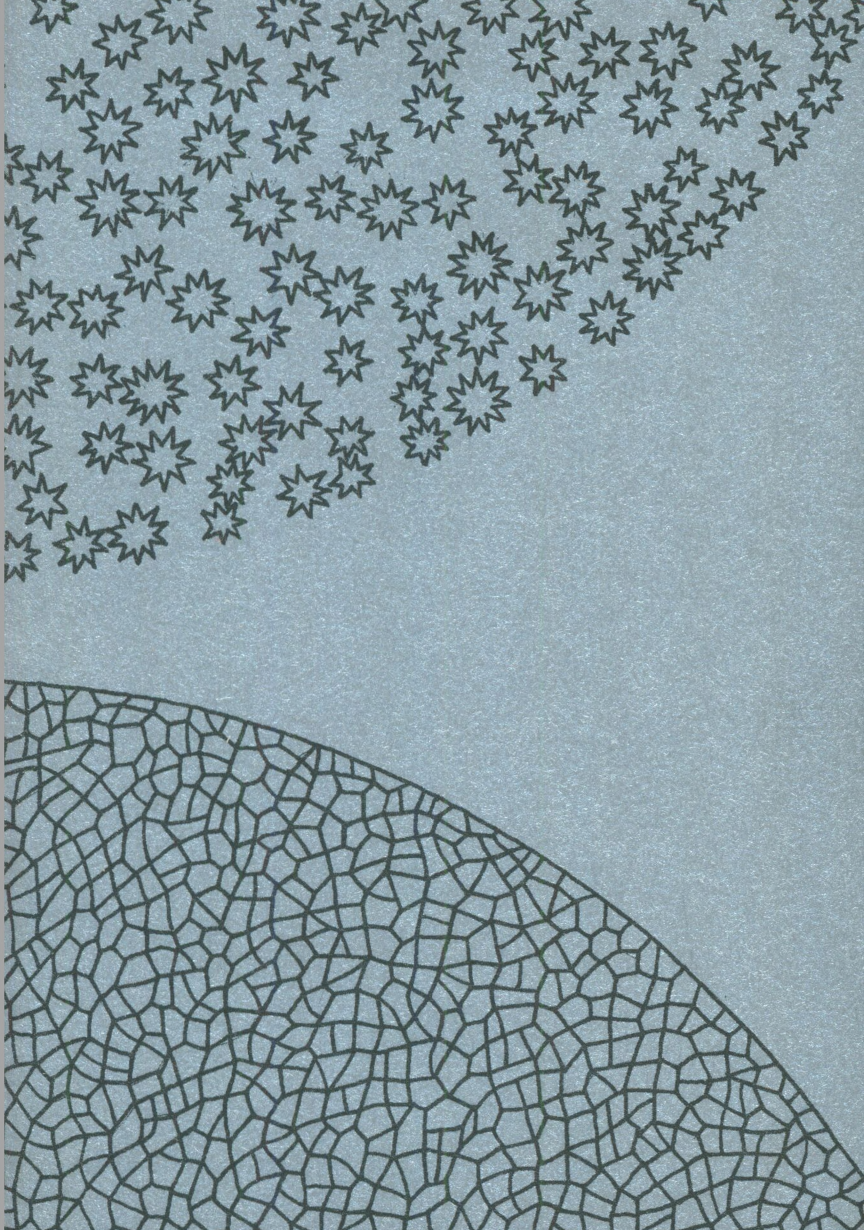
ВИКТОР АСТАФЬЕВ
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ



ТВЕРДЬ и ПОСОХ

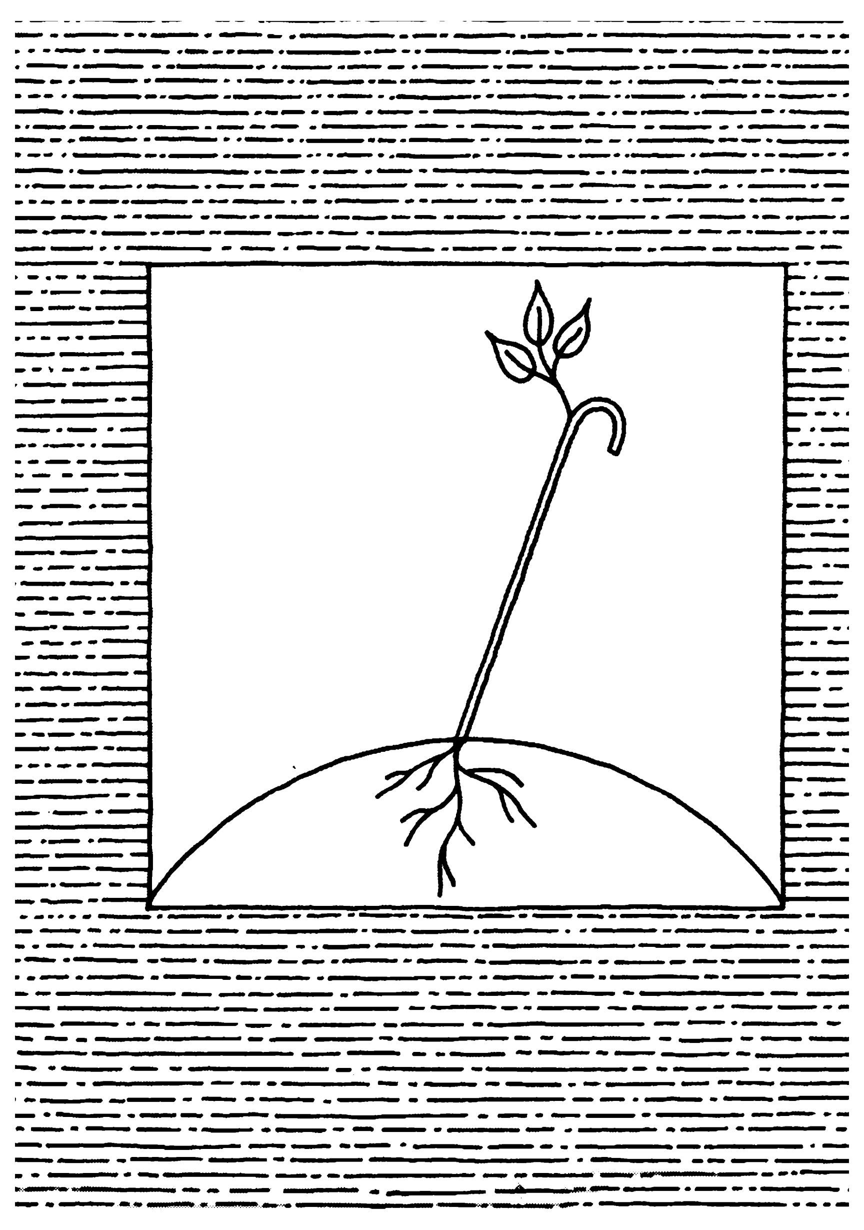
ТВЕРДЬ и ПОСОХ







Иркутск 2005



ВИКТОР АСТАФЬЕВ
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ



переписка
1962—1967 гг.

УДК 821
ББК 83.3(2=Рус)7
А 91

Составители
Кутейникова (Макарова) А. А.
Сапронов Г. К.

Художник Сергей Элоян

А 91 Астафьев В. П., Макаров А. Н. Твердь и посох: Переписка 1962—1967 гг. / Вступ. ст. Л. А. Аннинского. — Иркутск: Издатель Сапронов, 2005. — 304 с.

«Зрячий посох» — так в конце семидесятых годов прошлого века Виктор Петрович Астафьев назвал свою повесть, которая, немало побродив по редакциям и полежав в столе у автора, была опубликована в журнале «Москва» в 1988 году, когда гнет цензуры уже ослаб. Произведение это — о времени, о себе, о литературе — во многом носит исповедальный характер и в значительной степени основано на переписке В. П. Астафьева с известным литературным критиком А. Н. Макаровым, с которым у писателя завязалась крепкая дружба. Впоследствии повесть «Зрячий посох» была удостоена Государственной премии СССР.

Книга «Твердь и посох» вобрала в себя их переписку в полном объеме. Для сегодняшних исследователей и любителей творчества Виктора Астафьева это не только источник познания лаборатории выдающегося писателя, но и бесценный документ времени.

ISBN 5-94535-053-2

5

Две исповеди

Выпускник московских Высших литературных курсов, только что издавший книжку, посылает ее одному из преподавателей. Преподаватель — литературный критик. И даже скорее критик, чем преподаватель; студент у него хоть «на курсе» и не учился, но «читал и слышал».

Получив бандероль, критик забывает ее на письменном столе и уезжает на каникулы в деревню. Там спохватывается, что не поблагодарил.

Он достает такую же книжку в местной библиотеке (хорошо еще, нашлась!), смотрит издательскую аннотацию, приходит от нее в негодование и возвращает книгу в библиотеку.

Студент — впрочем, не столько студент, сколько журналист-литератор — сидит у себя в Чусовом и тактично молчит.

Переписка замирает, как ниточка, готовая оборваться.

Меж тем критик, вернувшись в Москву и наткнувшись на присланную книгу, перечитывает лестную в свой адрес надпись, соображает, что книга лежит с прошлого учебного года и что автор уже несколько месяцев ждет ответа.

Критик читает книгу и отвечает автору. Начав с извинения за задержку и объяснив ее рассеянностью и

перегрузкой, он наваливается на издателей, которые для аннотации «вышелушили» из книги нужную им «идею», тогда как в книге все «как в жизни», затем побивает их Даниэлем Дефо и его мастерской аннотацией к «Молль Флендерс» и, наконец, желает автору новых успехов.

Человеческая нотка: «Очень мне почему-то захотелось в Ваш Чусовой».

Ниточка вздрагивает.

Писатель, получив ответ от критика, немедленно добавляет в комедию положений свои детали.

«Наше эпистолярное знакомство началось с довольно-таки чудных странностей. Книжку Вам отправляла моя жена. Сам я спешно уехал на север Урала и забрался к черту на кулички... Когда я вернулся чуть живой... посмотрел на квитанции почтовые и ахнул. На одной квитанции стояло вместо Макаров Марков... а так как я всех наших Марковых не очень люблю, мне было вдвойне не по себе».

Тут уже необходим комментарий. Не перечисляя «всех Марковых», которых «не очень любит» автор этого послания, отмечу, что один из них в ту пору возглавляет Союз писателей СССР и воспринимается всеми как официальный представитель власти в литературе. Нужно иметь весьма дерзкий нрав, чтобы вот эдак, с первого же письма, фактически незнакомому человеку отлить такую пулю.

Адресат, естественно, тему «всех Марковых» не подхватывает. Он тактичен, осторожен, опытен... Собственно, пора назвать его: это Александр Николаевич Макаров, один из самых влиятельных литературных критиков 50-60-х годов.

Ну, а что «всех наших Марковых» с ходу понес не

кто иной, как фронтовик Виктор Астафьев, только что перебравшийся из Чусового в Пермь и все столичное начальство склонный рассматривать в прорези прицела, — это, я думаю, и так ясно.

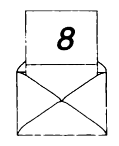
В эпистолярном наследии Астафьева переписка с Макаровым занимает место видное, достойное и, пожалуй, уникальное. И потому, что перед нами два незаурядных человека, владеющих пером и имеющих в жизненных и литературных вопросах твердые позиции, а еще потому, что это переписка писателя и критика. Более же всего — потому, что это две встречные исповеди людей, пытающихся в сложнейшей ситуации и под тяжким давлением обстоятельств сохранить чистую совесть и поступать «по правде», когда требуются компромиссы.

Они не то что жалуются друг другу, но ищут друг у друга поддержки, когда каждый сам втянут в свои неразрешимости и вынужден осторожничать: Макаров — зажимая свою поэтичную натуру в тиски профессионального критика, Астафьев — яростно клеймя и проклиная тех, кто его собственную безудержную натуру (и его прозу — редактируя, цензуруя и оценивая) зажимает в тиски.

Это яркий и красноречивый рассказ о жизни, написанный двумя отменными стилистами, ироничными, патетичными, лиричными, столь контрастно шутящими над собой и над дурью времени и столь едиными в надежде помочь друг другу.

Притом — это диалог писателя и критика, со всеми особенностями ролей.

Роли эти завещаны когда-то Белинским и доведены Чернышевским до юридической ясности. Драма взаим-



ных обязанностей таит в себе немало психологических распутий и даже ловушек. В условиях всеобщего тягла достается обоим, и писателю, и критику, оба, чувствуя на себе идеологическое ярмо, пытаются его облегчить, ожидая друг от друга помощи и вряд ли ее получая. А все-таки продолжают тянуться друг к другу, деликатно обходя предписанные роли, но и чувствуя, что роли эти не обойдешь: они предписаны традицией и реальностью — если иметь в виду, что и в последние десятилетия советской власти литературное дело все еще было продолжением дела общепролетарского, общенародного, общегосударственного и так далее по известной дефиниции.

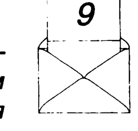
Как этим двум литераторам оставаться людьми в наэлектризованном воздухе насквозь идеологизированной эпохи?

Разгадка — в их характерах.

Парой штрихов к их портретам я предварю разговор, благо штрихи эти — личного плана.

К Макарову судьба толкнула меня впервые осенью 1956 года, когда, окончив университет и пролетев мимо аспирантуры, я соображал, куда мне тыкаться с моими первыми критическими опусами. Доброжелатели посоветовали: иди в «Молодую гвардию», там новый редактор, Макаров — умный и честный, то есть либеральный. Я пошел. До Макарова не дошел, будучи выбракован его сотрудниками на дальних подступах. Больше не пробовал — тем более что от редакторского кресла Макарова скоро освободили: видимо, был чересчур либерален.

Я увидел его близко четыре года спустя, когда поступил работать в журнал «Знамя», где Макаров был основным автором и — для меня — бесспорным авторитетом в сфере литературной критики.



Не буду много говорить о том, что значила его поддержка для меня в сугубо личном плане: именно по его рекомендации меня приняли в Союз писателей, а первую мою книжку — к рассмотрению в издательстве «Советский писатель». Не менее важно то, что, читая и редактируя его статьи, я набирался опыта. Учился независимости: независимости позиции, независимости интонации. Главное: как в хитросплетениях литературной борьбы (слева левые, справа правые, да еще и местами иногда меняются) держать сверхзадачу.

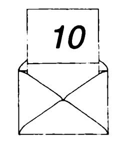
А в текстах Макарова сверхзадача живет выше оценок, позиций и концепций. Даже так: «что-то водит рукой помимо воли».

Точнее, это, конечно, концепция — жизненная, имеющая прямое отношение к базовой системе ценностей. Например, «шестидесятники» первого призыва ядовито спрашивают у «промотавшихся отцов»: что же это страна не могла обеспечить людям сносных условий для нормальной жизни?

Макаров отвечает: «Да! Не могла!» — и в ярости его ответа читается вера в страну, которую мы обвиняем. И столько искренности в макаровских отповедях молодым бунтарям, что они (то есть мы) не только не обижаются на него, но рады, что молодой литературой интересуются не только старые демагоги со словом «нельзя» в кобуре, но и такие критики, как Макаров.

Я увидел в нем человека, которому можно в минуту откровенности сказать все.

Однажды сказал. В 1961 году в Переделкине, при завершении семинара молодых критиков, где Макаров вел занятия. На отвальном «фуршете» (тогда это слово еще надо было брать в кавычки) на стадии легкого подпития



(что помогло преодолеть психологический барьер), я сказал, что вот, мол, приходится хитрить, ловчить, обходя редакторские рогатки, держать в карманах всякие фиги, а в будущем умные читатели, конечно же, разберутся, где, как и почему мы вынуждены врать...

Макаров ответил цитатой: «Оправдаться есть возможность, да не спросят, вот беда».

И прежде чем он успел погасить мгновенную усмешку в черных цыганских глазах, я уже знал, что эта фраза — из тех, которые навсегда врезаются в твою память.

Теперь об Астафьеве. Собственно, я его имя получил прямехонько из уст Макарова, когда он пересказал мне письмо, где Астафьев сравнял меня с Бушиным. Мы посмеялись; я счел себя в долгу и с того момента следил за публикациями автора «Звездопада», иногда поддаваясь, иногда сопротивляясь его прямодушию, которое доходило (в национальном вопросе) чуть ли не до рискованности. Оценил в «Зрячем посохе» неожиданный пассаж в мой адрес: Виктор Петрович сетовал, что я исчез из литературы, и даже спрашивал не без патетики, куда же я девался.

Позднее я пару раз написал о новых астафьевских повестях, меня потрясших. Но лично так и не познакомился, да и не понимал, как я ему представлюсь: «Я тот, кто, как Вы сказали, исчез из литературы»?

Однако в 90-е годы на каком-то фуршете (уже без кавычек) в Кремлевском театре на банкетном «чердаке» мы оказались недалеко друг от друга и встретились глазами. Астафьев только что получил какую-то литературную премию. Я подошел, поклонился и сказал: «Поздравляю Вас».

Его реакция была мгновенна: «А, Левушка!» — он приветствовал меня как закадычного друга.

И опять я почувствовал, что эту реплику унесу как память о нем.

Так и вышло.

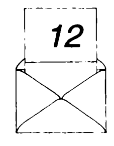
И вот теперь два человека, так четко и лапидарно врезавшиеся в мою память, предстают в сотнях писем, которыми они обменивались пять лет заочного, потом очного, потом дружеского общения.

Литературоведы могут использовать этот эпистолярий как опору под «Зрячий посох».

Я же прокомментирую другое: «поединок» двух профессионалов, заветами Белинского и регламентом Чернышевского разведенных на стороны литературной мизансцены.

Эпоха вопиет в душе каждого. Литература торчит в судьбе как продолжение дела. «Наше всё» разменивается на идеологическом базаре. Писатель и критик силятся понять, кто в этом виноват и что делать. Кому на Руси жить хорошо, они и так знают: хорошс дуракам, подлецам и начальникам.

Интересно, что как литературный критик, призванный анализировать текст, освещать путь и указывать ориентиры, Макаров пишет Астафьеву только раз — на четвертом году переписки, в восемнадцатом, что ли, письме: он разбирает рассказ «Синие сумерки» и... тотчас спохватывается: «Извините меня ради бога — это не поучение!» Боится задеть Астафьева своей критикой. Астафьев, почувствовав это, в свою очередь боится задеть Макарова своей реакцией на критику. Вдруг отношения охладеют!.. Сердце сжимается, когда читаешь, как они оберегают друг друга, как Астафьев в свойственном ему



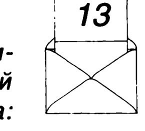
стиле шутливого залихватства предлагает сговориться на том, что «Вы обо мне ничего не писали, я ничего не читал»... и как Макаров его успокаивает: критика критикой, а дружба дружбой.

Получается, что ни писателю Астафьеву, ни критику Макарову ужасно не хочется играть роли, для писателя и критика наперед расписанные, когда один судит и учит, а другой сидит и учится.

Собственно, единственный совет, который Макаров дает Астафьеву, лежит на поверхности: пишите роман. Иногда проскальзывают тонкие построчные замечания. «Стр. 24, строка 3 (рукописи): При перепечатывании сами заметите, что голос стукнет по пустоте». Как сказано-то! Но для этого не надо быть критиком, достаточно быть талантливым человеком.

Нет, это не переписка писателя с критиком. Но тогда о чем речь? О чем эти десятки писем? В чем исповедуются друг другу два талантливых человека? Чего ждут друг от друга?

Отвечаю: они хотят понять, кой черт заставляет их кривить душой в печати. Астафьев, знающий, что со времен письма Белинского к Гоголю критик должен писателю что-то «объяснять», невольно ждет от Макарова ответа на вопрос, что происходит, и почему. Макаров, знающий про Гоголя и Белинского то же самое, отвечает: хорошо тебе, художнику, ты развернулся и пошел живописать росинку на цветочке... а критику нельзя. Или так: хорошо Вам, Виктор Петрович, у вас в героях дядя Левонтий и фэзэошники, а я не дядю Левонтия анализировать должен, а всяких высоколобых прозаиков и их тонкие организмы... Макаров, тертый калач, отлично знает, какие официальные обороты предписаны критику, чтобы его пропустили к читателям, у него, Макарова, в



душе — внутренний редактор, а лучше признать: внутренний цензор, да такой, что иной раз и вздох вырвется у честного человека: «липовый я критик...» А дело-то все равно делать надо.

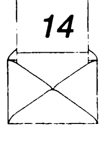
По адресу одной весьма талантливой писательницы Макаров говорит: «...такой искренней конъюнктурщицы еще не бывало, сам К. М. Симонов перед ней младенец».

Что же, в упрек Симонову это сказано? В упрек Галине Николаевой? Нет! Сказано даже и не без легкой зависти: так отлично чувствуют они конъюнктуру, так филигранно работают без лишних жертв, так хорошо знают, какие знаки ортодоксальности спасут текст. И Макаров знает.

Я этому учился — у него. Чтобы прошла искренняя, независимая, вольная нота, — редактору и цензору надо «выдать должное», чтобы и они могли это должное перетолкнуть наверх. Спасительные фигуры известны. То глазки отведешь на коммунистический «призрак», то плечико полуобнажишь: в случае чего, мол, подставлю.

Значит ли это, что тут ложь во спасение?

Вовсе нет! Я действительно изначально верю в коммунизм, я в случае чего действительно готов подставить плечо, если стране будет туго. То есть я не кривлю душой. Но я вовсе не хочу на каждом шагу перед каждым охломоном выставлять свои убеждения, мне их выставлять — унизительно, и я, конечно, обошелся бы без ритуальных поклонов, если бы не редакторский прессинг, знакомый каждому, кто печатался при советской власти. Единственное, что я могу себе позволить, — это сделать вид, будто я валяю ваньку. Умный поймет, дурак отстанет, и слава богу, если мне за это припаяют только «кокетство».



Астафьев отлично знает, где, когда и почему писатели валяют ваньку. Но критикам он этого не прощает. Или молчи, или режь всю правду!

Макаров, который вынужден играть по тем же правилам, куда трезвее.

Астафьев у него спрашивает (впрочем, скорее риторически): «Неужели при нашей жизни так и не снимут с нас намордник?»

Макаров тоже спрашивает (отнюдь не риторически): «А Вы думаете, у меня хоть одна статья появилась в том виде, в каком я ее написал?.. В том-то и проклятье самой профессии, что пишешь хорошо только тогда, когда пишешь как на духу, а там уж в листа иль не в листа — это от времени, от обстановки зависит и, как ни тривиальна эта истина, от международной обстановки. Насколько помню, всю жизнь так. И пока два мира существуют, аминь. Ну а что касается, что Беликовы всегда находятся с их «как бы чего не вышло», так ведь это явление, так сказать, национального характера, и во мне Беликов этот сидит... До чего же умны были наши Чехов да Лесков, многое они в нас такого подметили, что читаешь — и со смеху помираешь, и плакать хочется».

Ну Чехов и Лесков — понятно, а Макаров еще и Поликарпова вспоминает! Того самого партийного начальника, отвечавшего перед Сталиным за литературу, которому Сталин сказал: «У меня нет для вас других писателей!» Макаров о Поликарпове говорит, что любил его. За что? «А отчитывал он по-особому — получалось както так — мол, все ты, дорогой товарищ, сам знаешь и понимаешь, так какого же лешего...»

То есть: Поликарпов все понимает и вовсе не давит

литературу, а скорее воздерживает ее от гибельных крайностей.

Крайностей две: левая и правая. Или поддразнивать власть, вызывать у начальства тик, а в случае начальственного гнева тикать. Или вместе с начальством трахать кулаком: так, мол, и только так!

Макаров: «До чертиков надоело качание нашего литературного маятника, только и думаешь о том, как бы проскочить между тик и промежду так».

Астафьев: «Все выверяю, выверяю, как бы чего не забыть, где бы не соврать, не слукавить, и это ведь при том же «тик-так», которое стучит каждому из нас».

Макаров, крутящийся в столице, отлично знает, что такое «тик» и что такое «как». Отвечает — и тем, и этим. Одним — про тонкости литературного дела, другим — про Первый съезд писателей, картину которого они скособочили в сторону «любезных им писателей» (а Макаров на съезде был лично: со снопом в руках приветствовал мастеров слова от имени читательской массы).

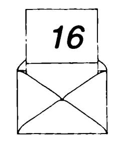
Астафьев на Первом съезде, естественно, лично не был. Был на последнем. Реакция: «Чем я больше вдумываюсь в то, что произошло на этом сборище лицемерия, лжи и предательства, тем гнуснее на душе... Как вспомню, так и трясет меня... Как подло все, и какая беспросветность впереди».

Макаров исходит из общего строя вещей. Он говорит: «Начальство начальством, а литература литературой». Добавлю для полноты: а конъюнктура конъюнктурой.

Астафьев и от конъюнктуры, и от начальства в праведной ярости: сокрушить бы все!

Что — все?

Цензоров, редакторов...



Тут появляется еще одна мишень. Какой-нибудь провинциальный эпик, расхрабрившийся на «главный жанр», выдает сразу не менее 800 страниц на тему: был ничем — стал всем. Одна эта характеристика чего стоит! Так и понятно: в графоманском море астафьевская непримиримая правда просто физически потонет.

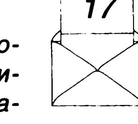
Астафьев к «главному жанру» всю жизнь подбирается, да так и не успевает осуществить, а тут — эпосы разливанные...

В отличие от Астафьева, Макаров эти 800-страничные эпосы по профессиональной обязанности читает и, жалуясь на свою судьбу критика-рецензента, возится-таки с ними, ищет им место на литературной карте.

Хочется связать кое-какие концы: а если цензоры, вдохновляемые партией в лице тов. Поликарпова, не только беспардонных критиков режима окорачивают, но и беспросветных дураков, из-за которых любой режим рискует стать посмешищем?

В отличие от Астафьева Макаров исходит не из противостояния правых и неправых, а из ощущения общего строя бытия. Он этот общий строй называет «Серьезной жизнью». Один сторонний наблюдатель с недоумением описывает его мироощущение так: «Он (то есть Макаров) пытается умиротворить нас фразами о тщетности поисков конкретного виновника социального бедствия... Он даже считает, что заниматься этим — пустое дело... Если бы крутые повороты валились нам на голову с неба, а не являлись результатом деятельности людей, то тогда заниматься этим действительно пустое дело...»

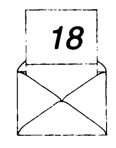
Сам Астафьев из деликатности таких вещей Макарову не пишет, но это суждение (принадлежащее Н. Н. Якубовскому) передает. И надо признать, что суждение



это не противоречит мироощущению Макарова. Точно так же, как противоположная позиция точно соответствует мироощущению Астафьева, который проклинает то тех, то этих виновников «социального бедствия»: то столичных начальников, то маршалов военного времени... а еще грузин, а еще евреев, охотнее же всего — коммунистов...

Опять-таки в письмах к Макарову, убежденному партийцу, Астафьев в этом последнем вопросе сдержан, и только после смерти друга, горюя о его уходе, пишет (его родным), что понимает, насколько развело бы их его отношение к коммунистам: вряд ли Макаров стерпел бы, что «на собратьев его по любимой партии я навалился со всею ненавистью, скопившейся во мне и в народе».

И дальше — об этой ненависти: «Думаю, как тошно было бы сейчас Александру Николаевичу, с его умом и пронзительным пониманием времени и чувством чужого горя, чужой боли, да еще с непременным разочарованием в коммунистических идеях, выродившихся в бесовство и какую-то черную дыру, в которую сползло, улетело, опрокинулось вместе с телегой все то немногое доброе и разумное, что затевалось настоящими коммунистами, выстрадавшими мечту о лучшей, справедливой жизни, от которой осталось то, что мы сейчас имеем, — черепки от партийных унитазов, бутылочные осколки и все еще грозно громыхающие булыжники пролетариата. Царство ему небесное. Вовремя, быть может, прибрал его Господь, только вот муки-то за что он принял? За слепую веру не в то и не в того, в кого следовало верить? Оставим этот вопрос открытым, как говорили сподвижники А. Н. по партии, мы не пророки и не ЦеКа, мертвые нам неподотчетны, да и живые тоже».



Не в то верил? Не тех ненавидел? Перепутал бесов с праведниками, мечтавшими о лучшей, справедливой жизни?!

Сподвижники А. Н. по партии (старого закала партийцы, то есть философски подкованные) признавали такое черно-белое видение единственно верным и полезным в борьбе. Макаров, в отличие от них, был по складу души лирик, идеалист-мечтатель. Он понимал: зло есть недостаточное добро; то, что мы имеем, происходит не от бесовских козней, а именно от ангельской веры в то, что человека можно перековать для справедливой жизни. А черепки от унитазов — следствие не того, что нам подсунули дерьмо со стороны, а того, что мы своему же дерьму ужаснулись. Это же природа вещей! «Серьезная жизнь»!

Достаточно вдуматься в тот же «Печальный детектив», чтобы убедиться: сам Астафьев мучается от такой правды. Как человек. Но все-таки ищет, на ком еще сохранились красные большевистские штаны, чтобы огреть народной дубиной.

Макаров: «Очень, очень интересно, что Астафьев как мастер эпистолярного жанра расходится с Астафьевым-прозаиком — в письмах пишет — ах, почему хорошие люди мрут, а подлецы живут, а в повестях пишет, что ни один-де подлец безнаказанным не остается. Где же мы с Вами лицемерим, дорогой мой Виктор Петрович?! Ну ладно, не буду дразниться...»

Дразнятся, подкалывают друг друга... и не могут друг без друга.

Что же связывает их — глубинно — на этой раскалывающейся от горестей земле?

Любовь к литературе? Да. Любовь к литературе для обоих — знак подлинности (а любовь «к себе в литера-

туре» — знак фальши). Но и литература — не самоцель. Это путь к любви бесконечно важнейшей. Надо полюбить жизнь, саму жизнь — сквозь ее грязь, черепки, дурь и подлость.

Иногда оба мечтают о чем-то «деревенском». Макаров с тоской глядит на серые стены домов, заслоняющие небо в его городской квартире, да и небо в городе — серое, слезливое. А Астафьев в каждом письме описывает свои лесные прогулки: докладывает, сколько сбил рябчиков и подсек хариусов.

Эта деревенская ностальгия тем любопытнее, что ни тот, ни другой вполне деревенскими людьми себя назвать не могут. Макаров говорит о себе: «я полудеревенский парень», и вырос он скорее в полумещанской-полупролетарской среде, из которой путь пролег в селькоры, рабкоры и дальше — на сцену писательского съезда со снопом в руке и пером наготове... Астафьев же, у которого Игарка вроде бы обрубила все лучшее, что было в детстве, неожиданно вспоминает, что в проклятущем детдоме писали они книгу «Мы из Игарки» и еженедельно выпускали стенгазету со стихами, и сам он первый «стишок» сочинил — во славу Игарки, и «если б не война...»

Если б не война... Этот рефрен счастливчикам из последующего поколения покажется чуть ли не анекдотическим... так на то они и счастливчики, чтобы цены миру не знать. Те — знают.

А уж о том, коммунисты ли виноваты в войне, все судьбы переломавшей, или они, коммунисты, страну к победе проволакивали жуткой ценой, — рассуждать хорошо из «прекрасного далека», а не из глубины того ужаса, в который ввергла людей эпоха, пообещавшая им всемирное счастье.

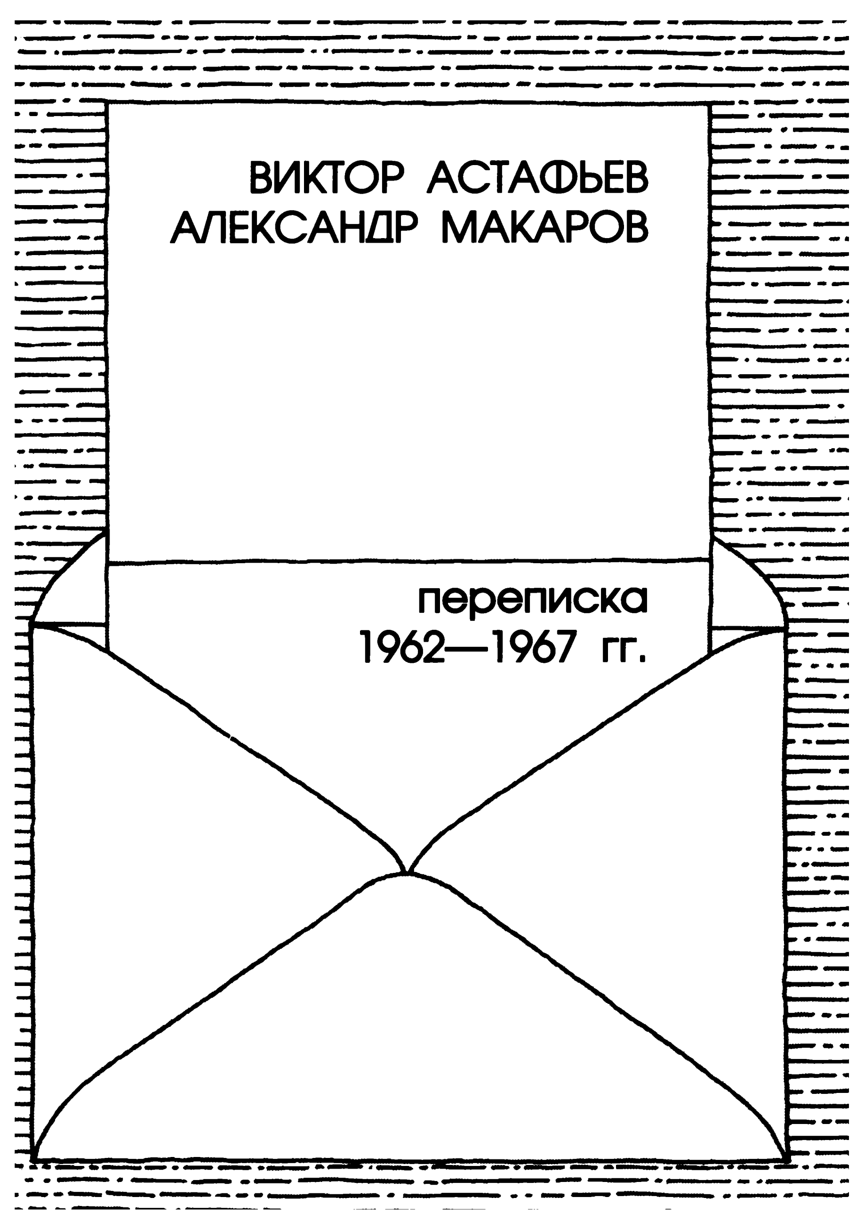
Были ли они счастливы?

Вместе — да, отвечу я, — когда обменивались исповедями: Макаров, откровенно счастливый, спрятавший все беды своей биографии глубоко внутрь, и Астафьев, откровенно клянущий несчастья своей биографии, но внутренне переполненный избытком счастливой жизненной энергии.

Так и смертный час встречают. Макаров, истерзанный хирургами, посмеивается: «Сам я револьвера не имею, вешаться ужасно некрасиво, яд дают в аптеке по рецепту, прыгнуть в воду не хватает силы». Астафьев же (переживший друга на треть века) и ствол имеет (охотничий), и Енисей в десяти шагах (на берегу которого родился и вырос, а потом вернулся), — а умирая, оставляет записку, от которой перехватывает дыханье: без прощенья покидает этот чужой, злой и порочный мир, потому что изначально любил его бесконечно.

Часы жизни отсчитывают последнее: тик-так, — твердь земная и твердь небесная смыкаются за двумя русскими людьми, которые успели самое сокровенное сказать друг другу... а теперь и нам.

Лев АННИНСКИЙ


ВИКТОР АСТАФЬЕВ
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ
переписка
1962—1967 гг.

А кто читает книгу сию — помяни меня.

Летописец Игумен Сильвестр.
Повесть временных лет

1962 год

А. Макаров В. Астафьеву
16 сентября 1962 г.

Уважаемый Виктор Петрович!

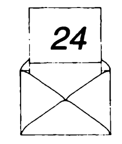
Большое спасибо Вам за книжку*, за добрую и, право же, незаслуженную надпись**. Вы простите, что отвечаю Вам чуть не через полгода. Но писать просто благодарственное письмо не хотелось, пока не прочел книжки. А тут подошло лето, уехал в деревню и в сборах да впопыхах книжку оставил на столе. Книгу-то я нашел и в нашей родной библиотеке, да адрес-то остался дома.

Так велик поток книг, что прочесть всего не успеваешь, и за этим «всем» часто пропускаешь и самое необходимое. Прочесть Вас еще в апреле, до

---

* Астафьев В. Звездопад: Повести и рассказы (М., 1962).

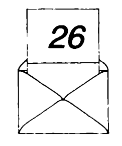
** Александру Николаевичу Макарову в память о ВЛК и с чувством признательности за заботу о молодых в статьях и на деле. Хотя я учился и не на Вашем курсе, но много доброго слышал о Вас, а добром мир держится. В. Астафьев. Урал, Чусовой, 62 г.


получения книжки, мне советовал И. Л. Гринберг и очень Вас нахваливал. Но как-то несколько общо. А Вы ведь поразительно «свойский», круто посоленный. Читал я Вас с наслаждением, вдыхая запахи пряные и смолистые, любуясь людскими узловатыми характерами, энергической силой жизни, так и бьющей русскими обжигающими родниками. Многое мне напомнило мое детство и своих мужиков, знакомый быт, хотя у нас, не в Сибири, все это не столь густо, опреснено, более акварельно что ли.

Аннотация к Вашей книге ужасна. А вот, кстати, и пример под руки подвернулся — аннотация Даниэля Дефо, сделанная самим автором к роману «Молль Флендерс», и редактора книги, изданной в самом крупном нашем издательстве «Художественная литература»: «Радости и горести знаменитой Молль Флендерс, которая родилась в Ньюгетской тюрьме и в течение шести десятков лет своей разнообразной жизни (не считая детского возраста) была двенадцать раз содержанкой, пять раз замужем (из них один раз за своим братом), двенадцать лет воровкой, восемь лет ссыльной в Виргинии, но под конец разбогатела, стала жить честно и умерла в раскаянии. Написано по ее собственным заметкам»; и: «Роман Даниеля Дефо (1660-1731) «Молль Флендерс» повествует о бедной девушке, которую социальные условия толкнули на путь проституции и воровства». Я вспомнил сердитые слова Сергея Антонова, который однажды, обозлившись, сказал, что удивляется способности критиков вышелушивать из произведения идею. Вот и тут вышелушили, вернее

даже вшелушили. И эка чему обрадовались: «село не нынче завтра будет снесено». А вот как снести в душах то, что Вы так безжалостно обнажаете в Ваших Амосах, Исусиках, как их возвысить до Култышей и Летяг? Хотя, признаюсь, Култыш — герой не моего романа, Летяга — вот это да! Может быть, потому что Култышей мне в жизни встречать как-то не приходилось, он уж слишком судьбою индивидуален и немного благостен. Я же всю жизнь питал расположение и даже любовь к натурам озорноватым, умеющим и настоять на своем. И почему-то Вы мне кажетесь таким, особенно по «Звездопаду», где Вы меня так настроили на благополучный или хотя бы театральный (вдруг ее убили!) конец, что от Вашей правды мне выругаться захотелось. Ну что Вам, право, стоило поженить их или разлучить — так с музыкой. А Вы вдруг взяли и написали, как в жизни. И потому и хочется ругаться, и грустно, и, наверное, уже никогда не забудешь этого Вашего юношу. Все мы, наверное, носим в душе нечто несовершенное, что и есть самое-то дорогое.

Хороший в Вас растет писатель. Характеры у Ваших героев свиловатые, столкновения и сшибки между ними по-мужицки крепкие, и ни в чем — ни в репликах, ни в передаче состояния — ни разу не ощутил я неловкости, фальши, неверной ноты. Уж на что «Солдат и мать» сложно, а веришь в мать безоговорочно. Слабее (впрочем, не то это слово), анемичнее других у Вас Лида в «Звездопаде». Здесь даже в одной реплике, мне думается, Вы сфальшивили, на стр. 237 внизу, и реплика меня покоробила. И слова,



и интонация какие-то старушечьи. Случай такой, что она могла не найти слов и верной интонации, но все же это не те слова, и интонации не были бы этими. Впрочем, этот пустяк, пожалуй, единственное, что мне показалось огрехом на Вашем добротно вспаханном поле.

Очень мне почему-то захотелось в Ваш Чусовой. Я ведь бывал когда-то в Ваших краях, где-то поблизости, тогда еще на «Березникхимстрое». Впрочем, настроил немного.

Желаю Вам счастья и новых книг. Черкните, если не поленитесь, что и когда и где будет у Вас новое. А то ведь за всем не уследишь. Мне хочется Вас почитать. Думал я, что в октябре мы увидимся на молодом совещании, а его перенесли на декабрь. А уж раз начали переносить, то до будущего года дотянут.

Ваш А. Макаров

В. Астафьев А. Макарову
29 октября 1962 г.

Уважаемый Александр Николаевич!

Наше эпистолярное знакомство началось с довольно-таки чудных странностей. Книжку Вам отправляла моя жена. Сам я спешно уехал на север Урала и забрался к черту на кулички. Аж на Кваркуш — это одна из самых больших вершин Урала, и там, на склоне его, находятся изумительные альпийские луга. Проездом был и в Березниках. Это сейчас большой красивый и самый зеленый город в нашей

области. В нем есть даже телецентр, сами понимаете, построен он не только для развлечения трудящихся.

Когда я вернулся чуть живой из похода, посмотрел на квитанции почтовые и ахнул. На одной квитанции стояло вместо Макаров Марков, такая малюсенькая опечатка, а так как я всех наших Марковых не очень люблю, мне было вдвойне не по себе.

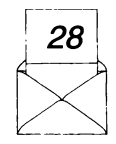
Вскоре из Чусового я уехал (мне наконец-то дали квартиру в Перми) и так и решил, что книжка затерялась.

Письмо Ваше пришло давно, а в моем прошлом жилище поселились татары, которые на это дело смотрят с философским спокойствием: получит или не получит человек письмо, от этого, мол, в мире ничего не изменится.

И вот лишь вчера письмо Ваше мне привезли. Такая вот прелюдия!

Спасибо Вам за добрые слова. Сейчас я пишу повесть о детдомовцах*. Годы сложные — 37-й в основном. Хочется написать правду, а правда тех времен страшная. Особенно страшна она была для детей, которые совершенно не понимали, что происходит, и, лишившись родителей, кричали: «спасибо любимому...» В общем, не хочется писать о сиротах так, как было писано в книжках с заголовками: «В родной семье», «Одной семьей» и т. д., а так, как хочется, не очень-то получается, вот потому, наверное, мне и показалось, что Вы меня перехваливаете.

* Видимо, речь идет о повести «Кража».



Но похвала ко времени — это для россиянина, как яичко к Христову дню, и Вы приободрили меня здорово. Поднатужусь и, глядишь, одолею эту повесть, которой болею давно и которую охота написать хоть немного лучше предыдущих. Тем более что книжка «Звездопад» уже отошла в прошлое, живет отдельно от меня, и многое в ней кажется наивным.

Попутно с «серьезными» вещами я всегда пишу маленькие вещи о природе, вроде стихотворений в прозе — это для отработки слова, интонации, для тренировки глаза и памяти. Набралось их порядочно. Я собрал их в книжку и издал ее в Свердловске под названием «След человека». Книжку мило издали, и я Вам ее потом привезу или пришлю. Мне прислали анкету на совещание молодых. Если утвердят — приеду. Я говорю «если», потому что молодым уже не могу себя считать — мне 38 лет.

Буду рад познакомиться с Вами и, если Вы любите деревню, пригласить Вас когда-нибудь порыбачить в полунищее село за Камским морем, где я купил себе хату и бываю там, когда время позволяет. Картины там, правда, более грустные, чем в наших книжках. Все заросло репьем и быльем, как в рассказах Бунина, только не было у него слов: «колхоз», «бригада» и плаката, написанного на старых газетах: «Мы за мир!» Это, так сказать, «приметы нового». Ну да бог с ними, с такими мыслями, иногда от них и устаешь. Еще раз спасибо Вам за письмо и за теплые слова.

Желаю Вам доброго здоровья и крепко жму руку.

Ваш Астафьев В.

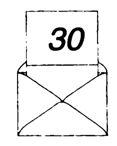
29

А. Макаров В. Астафьеву
9 ноября 1962 г.

Уважаемый Виктор Петрович!

(За отчество не ручаюсь, книжка Ваша в Москве, а пишу из Тарусы, простите, если запамятовал.) Дело, которое Вы задумали — дело большое и трудное. Но и достойное литературы. Пожалуй, именно на детях можно показать весь ужас былого, ужас неосознанный, казни и муки душевные, не только выдаваемые, а принимаемые за благодеяние. И у Вас наверняка получится. Вы добры к людям, как бывает добр человек, сам узнавший почем фунт лиха. Когда и как Вы это узнали, не знаю, но в книжках Ваших это чувствуется. А посему желаю, чтобы Вам хорошо работалось. Да и поздравляю, кстати, с прошедшим праздником.

Письмо Ваше тоже дожидалось меня, но, правда, не так долго, я был в Молдавии, поездил по воинским частям, по местам, для меня памятным — там я служил на границе рядовым в 1940 году и, как пишется в анкетах, участвовал в освободительном походе в Бессарабию. И доселе сохранились у меня там знакомства с несколькими, бессарабскими когда-то, подпольщиками-комсомольцами, которым именно потому, что они были подпольщиками, пришлось довольно туго и с превеликим напряжением зарабатывать право на партийность, но все же они выдюжили и сейчас стали один литератором, два профессорами, а один — так и главным архитектором республики. Чудесные, право, были ребята бендерские комсомольцы.



И как странно все, и сколько же этих памятных мест у человека. Вот Вы пишете о Березниках, а ведь я там был весной 1931 года и летом и помню только лес, башни еще недостроенные, пыльное Усолье с присадистыми домами на другом берегу да какое-то полупустое помещение с деревянным верстаком и прилаженными тисками, где я и такие же, как я, выпускники ЦИТа, слесари 2-го разряда, выпиливаем какие-то, явно никому не нужные, «маяки», ибо ничего другого и делать не умеем, да и прислали нас слишком рано, цеха еще не построены. Месяца через два я позорно сбежал, так и не подшабровав свое единственное изделие. А теперь страсть как хочется побывать и в этих памятных местах.

На совещаниях молодых Вы несомненно будете и, представьте себе, отнюдь не самым пожилым — приглядываясь к составу совещания, я пришел к выводу, что наше литначальство страшно не хочет стареть, а потому всех, кому не стукнуло полвека, склонно считать литмладенцами. Ну да бог с ними, начальство начальством, а литература литературой. Главное же, что в Москву можно лишний раз заглянуть.

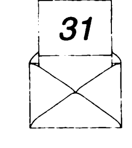
Ваш А. Макаров

Засвидетельствуйте, пожалуйста, мое почтение Вашей жене и мою благодарность за ее хлопоты.

В. Астафьев А. Макарову
Осень 1962 г.

Дорогой Александр Николаевич!

Спасибо Вам за доброе письмо. Оно пришлось



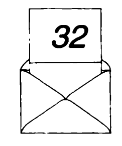
как-то здорово кстати. Навалилась меланхолия, и не писалось, а все только думалось. Может, виной тому были события в маленькой далекой стране, которой, как пешкой, решили сыграть сильные мира сего. И слава богу, что не «принесли ее в жертву», как писала одна датчанка потом в газете «Известия». И без того слишком уж много было жертв на нашей памяти только.

Вышла моя книжка*, та, о которой я Вам писал. Раз Вы человек деревенский и любите природу, я и дарю Вам ее на память. Затоскуете зимой в городу и полистаете вторую часть ее, и может, она окажется хоть маленьким свиданием с простыми человеческими радостями, которые приносит нам природа. Она в этом деле безотказна и почти никогда не приносит горя. Возблагодарим ее за это!

Вещи в сборнике собраны за много лет и потому неравноценны, но я шлю Вам книжку для дружеского прочтения и надеюсь, Вы будете снисходительны к моим, может быть, излишним восторгам и моему трепету перед каждым кустиком и зарею, которые сплошь и рядом в книжке и, наверное, станут утомлять и даже раздражать. А может быть, и нет? Книжка-то моя и судить мне о ней трудно. Словом, мне хотелось, чтобы она рождала в человеке только светлые чувства, хотя есть там вещи и шибко пессимистичные.

Повесть пишу. Туго, но продвигаюсь вперед, авось, и получится что. Пока судить не берусь. Таких сложных вещей еще не писал.

* След человека: Сборник рассказов (Свердловск, 1962).



Прочитал «Зиму тревоги нашей». Стейнбека я любил и раньше, за «Гроздья гнева» и в особенности за «Жемчужину», а теперь просто боготворю его. Вот ведь как «просто» умеет писать человек! И это еще перевод, а как, поди, здорово в оригинале!

Да, после таких книг почешешь, почешешь думалку и начинаешь листать написанное и вдруг убеждаешься в собственном убожестве. Коварные эти мужики, мастера-то, нет-нет да и вышибут из седла самоуспокоенности, шпыняют под бока, гляди, мол, как надо писать-то. Ну авось, да небось, и мы свою полоску вспашем. Если в это не верить — пропадай моя телега все четыре колеса! Может, я чего и не так написал, извиняйте. Немножко рад книжке. На рыбалку вот съездил и под настроение Вам написал.

Крепко жму Вашу руку и желаю всего доброго.

Ваш В. Астафьев

Сегодня прочел Солженицына в «Новом мире». Потрясен. Радуюсь. За литературу нашу радуюсь, за народ наш талантливый и терпеливый.

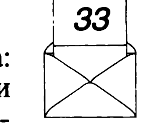
*А. Макаров В. Астафьеву**
Ноябрь-декабрь 1962 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Большое спасибо за книжку**, за письмо. Про-

---

* Печатается по книге В. Астафьева «Зрячий посох» (М., 1988).
** Видимо, речь идет о книге «След человека».



чел наугад, где развернулось, два рассказа: «Старая лошадь» и «Прахом своим» — и понял, что читать подряд не надо, не такого типа книжка, чтобы ее подряд читать. Стало както грустно и раздумчиво, и не хочется спугивать настроение. Как прочту, напишу об общем впечатлении.

Желаю Вам успешной работы и пахоты глубокой. Мастера-то, они, конечно, из седла выбивать мастера, ну да ведь когда выбит, берись за плуг, да покрепче, ан и опять в седле.

Ваш А. Макаров

А. Макаров В. Астафьеву
Конец декабря 1962 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Спасибо за новогодние пожелания! От души желаю Вам счастья и вдохновений (пусть нелегких), а все остальное приложится. Да, еще здоровья. Когда закончите повесть, может быть, стоит подумать о «Знамени». Редакция противная, выматывающая у автора кишки, но ведь журнал-то приличный.

Старый год был годом нашего заочного знакомства, дай бог в новом встретиться.

Ваш А. Макаров

34

1963 год

В. Астафьев А. Макарову
4 января 1963 г.

Дорогой Александр Николаевич!

Извините, что отнимаю у Вас время, но по пустякам я бы не стал этого делать. В Перми живет Ольга Александровна Волконская (далекая и дальняя родственница знаменитых российских Волконских). Она была дитем вывезена за границу в смутное время и моталась по всему свету, как по Старому, так и по Новому. Там и выросла. Мечтала вернуться на Родину и вернулась. Она пишет. Печаталась за границей в прогрессивных изданиях. Печатается изредка и у нас. В частности, подборка ее рассказов была напечатана в журнале «Урал». Наше Пермское издательство решило напечатать книгу ее вещей. И вот несколько лет не может осуществить этого дела, и все из-за того, что автор вернулся из дальних Палестин. Наконец-то ее оставили в плане, эту книгу, но, чтобы перестраховаться, «общественность» требует рецензии «сверху», т. е. от Союза писателей из Москвы (мы не пророки в своем отече-

стве), и вот теперь нам стало известно, что эту рецензию заказали Вам.

Александр Николаевич, если рукопись Волконской заслуживает того, чтобы ее было возможно поддержать, поддержите, пожалуйста. Я пишу Вам не с целью оказать какое-то давление (как это пишется в газетах), а просто в порядке участия в судьбе этой очень культурной и в общем-то совершенно беззащитной женщины. Она, конечно, счастлива и тем, что имеет, т. е. Родину, но раз уж она пишет и пишет не хуже, а лучше многих авторов, издаваемых нашим областным издательством, то как-то и неловко держать ее в нетях и затирать лишь из-за того, что она имела несчастье родиться в семье дворян, а не пролетариев.

Рукопись Волконской называется «Фиалки и волки», если это не против души, помогите и нам, и автору. О чем любезно прошу.

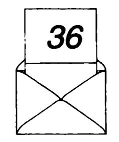
С уважением В. Астафьев

P. S. Я много работаю. Начерно закончил повесть и теперь обстругиваю ее. Думаю к лету доломить окончательно. Получилось вроде, чем и счастлив.

А. Макаров В. Астафьеву
8 января 1963 г.

Дорогой Виктор Петрович!

К сожалению, Ваше письмо несколько запоздало — рецензию на книжку О. Волконской я отослал еще до Нового года. Ваше мнение для меня имеет значение, и получи я письмо раньше, я бы, вероятно, не-



сомненно подмаслил рецензию. А так, боюсь, она скуповата: книжку, по-моему, издать надо, но в особый восторг она меня не привела. Ужасный идиотизм эта манера посылать книжки «наверх», чепуха какая-то, как будто «наверху» не могут ошибаться, как будто один столичный рецензент с его субъективным вкусом только и способен решить судьбу книги. «Парижские рассказы» мне понравились меньше, аргентинские больше, и, по правде говоря, меня несколько огорчила эта разноманерность, да и манерничанье цветистостью. Но все это, право же, не имеет отношения к изданию книжки. И, как Вы, вероятно, уже знаете, я высказался за издание. Если Вы имеете какую-то связь с издательством, то поднажмите со своей стороны: мол, конечно, рецензия требовательная и даже придирчивая, но ведь, мол, критик-то строг, как известно, и все-таки считает, что книгу надо издать. Можете даже предположить, что общий критический тон рецензии объясняется трусоватостью рецензента, мол, старался так написать, чтобы обеспечить пути отхода, буде вышедшая книжка вызовет не тот реагаж. Поскольку в рецензии я сделал предположение о возможности выделить в отдельную книгу аргентинский цикл, я не писал о заглавии книги. Очень советовал бы автору изменить его, если книга будет выходить в этом виде. «Фиалки и волки» — в этом есть что-то претенциозное.

Что же касается того, что происхождение и былое автора тормозит издание книги, так это уж совсем бог знает что. На месте издательства я, наоборот, возрадовался бы и даже предпослал предисло-

вие (от издательства или кого-то из писателей-пермяков, или самого автора), вот, дескать, читайте, человек сама все видела, и не со стороны, а изнутри. И выросла там, и даже печаталась там, а вернулась на родину, и т. д., и т. п.

Ваш А. Макаров

В. Астафьев А. Макарову
27 января 1963 г.

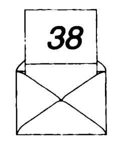
Дорогой Александр Николаевич!

Я только что вернулся из знакомых Вам Березников. Была там передача по телевидению, и мне пришлось первый раз в жизни моргать от яростных ламп и глядеть в пустоту, разговаривая с читателями. Занятие не из приятных.

По возвращении домой прочел в «Лит. России» Ваши заметки о моей книжке*. Мне даже и не хочется их называть рецензией. Очень мне было приятно прочесть Ваши раздумья о книжке. Смущало одно: пославши Вам книжку, я вроде бы напросился на «отклик». Ну, может, это смущение проистекает от «провинциальности» или от «божьего человека», как обозвал меня однажды в Москве один бойкий поэт «из обоймы».

Я все бьюсь, штурмую повесть. Задачу я себе задал почти непосильную. Работаю тяжело. Нервы уже на исходе. Усталость страшная. Вы мне помог-

* Речь идет о рецензии А. Макарова «Прочитав «След человека» (Лит. Россия. 1963. № 3).



ли, поддержали рабочий тонус, и за это самое большое спасибо. Как и всякое яичко дорого ко Христову дню, так и Ваши заметки пришлись ко времени. Возможно, мне удастся захватить уже что-то более или менее читабельное с собою. Черновики я, правда, не люблю читать и показывать, но в этой повести много такого, о чем надо бы посоветоваться. Словом, если еще раза два или три перенесут совещание, и я уже приеду с почти готовой вещью.

С Волконской все обошлось хорошо. Моего вмешательства не потребовалось. Достаточно было рецензии «сверху» и все. Книгу ее уже редактируют.

Еще раз спасибо Вам на добром слове.

Ваш Астафьев

В. Астафьев А. Макарову
Май 1963 г.

Дорогой Александр Николаевич!

Нонешний Касьян какой-то тяжелый для всей земли — жары, землетрясения, бури, тревоги и масса черемухи. Не к добру, говорят!

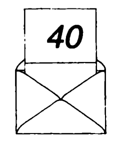
У меня год этот исключительно тяжелый. Не успел я вернуться из Ессентуков и пережить обострение, как тяжело заболели жена и ее племянник, воспитывающийся вместе с нашими ребятами. И у жены, и у племяша дело подкатывало к смерти от менингоэнцефалита. Леса заражены энцефалитным клещом до безобразных размеров. Больницы наши были забиты людьми совершенно разбитыми и на-

долго выведенными из строя с последствиями на всю жизнь. Были случаи укусов клещами даже в городском парке. Вот так природа мстит за истязание и разбой, учиненные нами.

Есть такая малая птаха синица-московка. Она питается исключительно этим клещом и съедает его, говорят, до 45 кг в год. Но она любит боровые, густые леса, и в вырубленных, захламленных местах не живет. Ее на обрубленном Урале почти нет, встречается только на севере и изредка возле нас, и вот, пожалуйста, не стало птахи малой и пошел мор на людей. Когда только у нас и научатся понимать и осмысливать цитаты, хотя бы того же Энгельса, насчет того, что к природе надо притрагиваться осторожно, иначе она отомстит.

А какая уж тут осторожность. Весь Урал обрубили, засрали, разгромили на века. Куда ни сунешься, везде брошен лес, везде хлам непролазный и лесная зараза.

Но Вы все-таки не бойтесь и приезжайте в августе или сентябре. Действие клеща кончается в июле, в конце, и я как охотник и рыбак еще могу сводить Вас в неразбитые места. Кроме того, в деревушке, где я обычно обитаю, есть речушка с хариусами. Но их так быстро истребляют, что ныне я уже с трудом налавливаю на уху. На будущий год еще, видимо, буду налавливать, а там уж на уклейку, окунишек и ершей перейду, да еще на лещей, ловить которых не люблю, но развелось их в Камском море дивно и никуда не денешься, придется превращаться в лещатника и ждать часами, ждать поклев-



ки. А я люблю побегать по речке, похитрить, поругаться и обмануть харюзишку. Вкусен, собака, и ловок! Ловить его дело хитрое, но и наслаждение ж!

Писать я нынче совсем перестал. Повесть никак не могу добить. Вовсе выбит из колеи. Сейчас вот жена уже дышит и начинает печатать. Я для разгона написал эту штучку, что кладу Вам в конверт и еще рассказ сделал на лист. Его посылаю в «Урал», там обещают быстро деньжонки заплатить. «Хлебозары» посылаю Вам просто так, для прочтения. Все пробую «звук» отработать и писать, как наши славные россияне писали стихи, — складно и со смыслом. А то уж больно много развелось у нас модных прозаиков и, как ни странно, поэтов, которые пишут спустя рукава, оставляя писательскую работу в стороне. Стихи пишут длинные, нескладные. И для кого только? Вон Рождественский уж метрами стихи выдает. В каждом журнале его самодовольная личность. А стихи? У нас в детдоме говорили: «ни складушки, ни ладушки, поцелуй ее с задушки», так, видно, про такие стихи. Главное — ребятишек развращают. В провинции косяки студентов ходят со стихами, где развязность и хилософия заменяют всякий смысл и поэзию.

Ну, я чего-то разбрюзжался! Бывает.

Как мне хотелось бы сделать хорошую повесть. А сейчас вот заглядываю в рукопись, и все кажется плохо до того, что и работать над нею не хочется. А знаю — надо себя изнасиловать, заставить. Ну, авось, и перемогу себя, авось, чего-то и получится.

Как Вам там живется, в Тарусе? Как пишется?

41

Я весною, если — тьфу! — ничего не случится, поеду в город Белев. Я оттуда начинал воевать и, наверное, смогу и на Тарусу посмотреть — это, по-моему, по пути? А пока везу больную жену в деревню и вынужден буду еще долго находиться при ней неотлучно. Она у меня мировая баба. Мы женились еще в 45-м. Она тоже была в армии. Много перенесла. Умница, хлебосольница, и вот говорит — бог шельму метит, пока все наоборот, все наоборот.

Чего-то я Вам наворотил тут?

Желаю всего, всего доброго. Всегда рад Вашим добрым и душевным письмам. Читаю их и перечитываю. И все больше и больше хочется встретиться и покалякать.

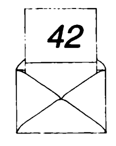
Ну теперь, буду если в Москве, так дозвонюсь уж.

Жму Вашу трудовую — Виктор

А. Макаров В. Астафьеву
20 августа 1963 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Письмо Ваше пришло в Тарусу, а я целый месяц просидел в Москве, где меня терзали и резали «мудрые врачи». То ли от купанья, то ли еще от чего у меня была флегмона (говоря по-русски, сучье вымя) какой-то необычной величины. В общем, провалялся месяц и сейчас еще не понимаю, то ли совсем прошло, то ли нет. Все это, конечно, пустяки. Но вот Ваша беда так беда, но я надеюсь, что все же



кончится благополучно. Очень расстроило меня Ваше письмо и самое главное то, что бессилие, в каком иногда оказываешься, мучительнее любой боли. Право же, когда сталкиваешься с такими явлениями, часто переживаешь какое-то чувство вроде того, что охватывало тебя на московской крыше во время первых бомбежек — все видишь, а сделать ничего не можешь. Вероятно, спасение только в одном — в работе, дык ведь вот немощи мешают. Года три назад умер у меня флотский товарищ, журналист. При жизни выпустил он еще в 1949 году маленькую книжицу стихов в Крымиздате. А после смерти оказалось, что у него в столе лежали любопытные и оригинальные повести, и не о море, а о борьбе с басмачами в Средней Азии, где он воевал с ними в 1931 году. Вот и хочется протолкнуть в Воениздат. Был он удивительный человечище, весь, казалось, ушедший в газетную работу (он был отв. секретарем «Кр. черноморца»), номера не делал, а прямо-таки лепил, формовал. Детина — рост 184, лицо и фигура — хоть статую высекай, идеальный боевой моряк, а вкус поэтический у него был настоящий, хотя, может быть, несколько романтически-утонченный. Любил Грина. И вот эта рафинированность ума и чувств в сочетании с могучей фигурой создавала какое-то особое обаяние. И как-то он очень располагал к себе, мне не случалось встречать человека, который к нему не был бы расположен. А то, что писал, не показывал то ли из скромности, а может быть, потому, что был раним сердцем. Не знаю. Вот мне и надо написать предисловие, да так, чтобы сборнику цену почувствовали и

в издательстве, где вопрос об издании еще не решен, а я вот уже несколько дней сажусь за бумагу и ни черта не выходит. Может быть, потому что личное отношение мешает, вижу не столько материал, сколько его самого.

Спасибо за «Хлебозары». Удивительно Вы пишете, не знаю, как насчет звучания, но запахом полей, хлебов, грозы повеяло от этих страничек. Пересылаю рассказ в «Знамя» со своим всхлипом, очень мне хочется, чтобы его напечатали. Я только не давал бы этого подзаголовка — стихотворение в прозе — это ведь издатель Тургенева его выдумал, у Тургенева, как Вы помните, это называлось senilie.

Ну а Вам о старческом думать совсем рано.

Очень хочу, чтобы осень оказалась для Вас плодотворной, чтобы принесла она Вам, как и полагается осени, щедрые дары — и полное выздоровление близких, и творческий запал, и полные куканы хариусов. А мне уж, видно, этой осенью у Вас не побывать, куда же я недорезанный поеду.

Пожелайте от меня Вашей жене поскорее выздороветь окончательно.

Ваш А. Макаров

1964 год

В. Астафьев А. Макарову
16 января 1964 г.

Дорогой Александр Николаевич!

Я бы иной раз и написал Вам, но знаю, что Вы человек занятой и обязательный, как мне кажется, а я это качество ценю в людях и в себе очень сильно и вот думаю, нужно будет в силу этой обязательности отвечать мне, и, может, человек не сделает что-нибудь из дел более существенных. Я это к тому, что и на это письмо отвечать Вас не обязываю, хотя, честно говоря, письма получать люблю и даже больше, чем писать их.

Немножко слов касательно Вашей статьи* и вообще «наших дел», а потом уж о делах личных.

Едва ли я переоценил Вашу статью по той статье, по которой я оцениваю все, начиная с отношения к жене, человеку вообще и кончая нашими литделами, и критическими в частности. Статья

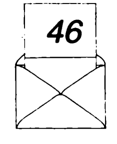
* Речь идет о статье А. Макарова «Эстафета поколений» (Лит. Россия. 1963. 21 мая).

эта, или мерка моя — порядочность, прежде, когда качество такое само собой разумелось в людях, ее называли добротой. Где-то, по-моему, у Сомерсета Моэма, я вычитал строку о том, что слабости наши проистекают чаще оттого, что мы не умеем прощать своих недостатков в других. На первый взгляд вроде банальная истина и к литературе никакого отношения не имеет, но если сообразоваться с тем, что литератор — это прежде всего человек и все его достоинства и недостатки берут начало в человеческом существе, если можно так выразиться (а может, сущности?), то и выходит, что старый британец изрек истину, если и не сногсшибательную, то весьма полезную, особливо нам.

Вот ведь, читаю я две статьи в последнем номере «Литературной России» (как и в других изданиях), читаю, значит, статьи Бушина и Аннинского. Умные ребята, ничего не скажешь. Правда, Бушин мне и в этой, и в других статьях представляется персонажем спектакля, который долдонит на сцене монолог свой, а в это время уже вор в окошко залез, жбан с самогонкой с окна уронил, раму, плохо прибитую декоратором, выворотил, а он, Бушин-то, все еще делает вид, будто ничего не слышит и не видит, а произносит свое и знать ничего не хочет, и ничего замечать не желает.

Но это так, к слову.

Так вот, обе эти статьи умные, и у Аннинского даже искренность пробивается (кокетливая, правда, с глазками, с отводом и даже полуобнажением плечика), но вот обе эти статьи, как только применишь



к ним мою мерку, — рушатся. Не выдерживают наши многие критические работы мерку доброты. Добреньких работ много, а вот с добротой — могу по пальцам перечесть.

Вот с этой, моей, точки зрения я и читал Ваши статьи, как по письмам, так и по трем поэтическим сборникам, и могу рубаху рвать и пуп царапать, доказывая, что статьи эти хорошие, и человек их писал добрый сердцем, а не подделывающийся быть добрым. Вот уже краснейте не краснейте, а комплимент я Вам сказал без всяких яких, и не потому, что Вы ко мне хорошо относитесь и даже хвалили както печатно. Заблуждаться я, конечно, могу, как и всякий смертный, но кривить душой не люблю.

О делах моих.

Всю прошлую зиму и часть лета я работал над повестью «Кража». Написал, трижды прошелся по ней и давал читать в издательство «Молодая гвардия». Там ее рецензировали и, вопреки моим опасениям, отнеслись к ней положительно и даже поторопили меня, давай, дескать, нужна такая книжка, особенно сейчас, когда подрастающее поколение «нуждается в идеалах», «должно знать», как «мы трудно росли», и т. д., и т. п.

Болезнь спутала все. Хватил меня инфаркт какой-то скрытый. Болезнь эта, насколько мне известно, пока привилегия писателей, так что я теперь считаю себя уж окончательным литератором. Наряду с повестью, как всегда, работал над рассказами. Два новых рассказа: «Конь с розовой гривой» и «Далекая и близкая сказка» опубликованы, один в «Лит. России», другой — в «Огоньке». Но больше всего

сил взял у меня после повести рассказ «Два солдата», который дают вроде бы во 2-м номере «Нашего современника». Рассказ этот я морочил с 1961 года. И, если у вас будет время, очень прошу проглядеть его и черкнуть мне, когда также будет время, несколько слов. Рассказ этот как бы разведка к повести «Кража», и поэтому мне хочется знать, как и что, ибо летом или осенью я все равно одолею повесть.

Всего вам лучшего.

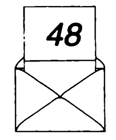
Ваш Виктор

А. Макаров В. Астафьеву
Конец января 1964 г.

Дорогой Виктор Петрович!

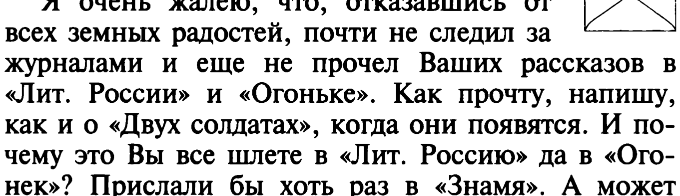
Спасибо Вам за письмо. О своей статье говорить больше не буду, тем более что лежит на столе груда читательских писем, на которые, кажется, опять придется отвечать. А я замотался и еще не раскрыл папку с письмами при всей моей доброте, существующей в Вашем воображении. Должен был еще в декабре сдать книжку о Демьяне Бедном*, маленькую, популярную, листа на четыре, и вот только что закончил ее вчерне. Работы еще на добрый месяц. От всех прячусь, никуда не хожу, изоврался сам и мои домашние — то говорят, что я в Тарусе, то — что в

* Книжка А. Макарова «Демьян Бедный» вышла в издательстве «Художественная литература» в 1964 г.



Калязине, а я жму. Увы, пишется не ахти, странички три-четыре в день, а наутро глядишь — бред собачий. Нет ничего хуже спешки, а мы живем только в спешке, подгоняемые то сроками, то нехваткой денег. Поверите ли, за всю зиму не вырвался ни разу за пределы Москвы, ни в лес, ни на лед, ни просто в деревню. И при всем при этом перед всеми печатными органами в неоплатном долгу, все смотрят на тебя, как на зверя, — обещал, а не написал. И в самом деле — я вконец испортился: всем обещаю и ничего не успеваю. А когда-то гордился тем, что любое обещание не только выполнял, но и в срок. Словом, охоты много, а силы не те, и никак не может с этим человек примириться.

Очень верно Вы пишете об Аннинском и Бушине. И очень они разные. Левушка Аннинский, верно, пококетничать не прочь, но литературу любит, хотя как-то по-городскому, больше именно литературу, чем то, для чего она. Впрочем, это беда всех горожан, а может быть, это даже достоинство: думать, что литература и есть то, на чем свет клином сошелся, что существует она сама по себе и для себя, но талантлив Лев Александрович несомненно. Бушин же, по-моему, ничего кроме себя не любит. Странный он какой-то. Он ведь когда-то был в семинаре у меня по Литинституту, я принял этот семинар от Веры Смирновой и года полтора вел его. На защите диплома я попытался сказать Бушину, что его беда в том, что он больше любит себя, чем литературу, коей намерен заниматься. Он принял это с вежливой улыбкой и вообще мне всегда при



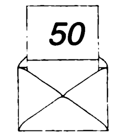
встречах улыбается. Не читаю я его статей.

Я очень жалею, что, отказавшись от всех земных радостей, почти не следил за журналами и еще не прочел Ваших рассказов в «Лит. России» и «Огоньке». Как прочту, напишу, как и о «Двух солдатах», когда они появятся. И почему это Вы все шлете в «Лит. Россию» да в «Огонек»? Прислали бы хоть раз в «Знамя». А может быть, повесть показали бы, а?

Вот уж не думал, что Вас хватит инфаркт*. У меня их было два. Остается утешаться тем, что «инфаркт — залог здоровья». Пить, курить не станете (разве лишь тайком), а будете только работать. Веселенькая жизнь! Иногда, честное слово, я бешусь, когда врачи меня уверяют, что мне даже есть после 7-8 вечера вредно, а вот работать — пожалуйста... И самое смешное, чем больше стареешь, тем больше хочется выкинуть нечто несусветное, в бандиты что ли пойти. Из дому сбежать. Поступок престарелого Толстого — это ведь юношеский поступок. Как и «Хаджи Мурат» — юношеское произведение. А пока не спешите. Потихоньку входите в ритм. Самый страшный яд для нас с Вами не водка, а спешка, дергание.

Повесть Вы одолеете и не одну. Это спервоначалу кажется страшно. Да, вот еще что. Как правило, после инфаркта месяцев шесть, а то и год уходит на раскачку. Так было у меня оба раза. И если увиди-

* Комментарий В. Астафьева: «Не было у меня инфаркта. Была тяжелая пневмония, и печень забарахлила». (Зрячий посох. М., 1988. С. 23.)



те, что у Вас что-то плохо двигается, не пугайтесь — все пройдет

Ваш А. Макаров

В. Астафьев А. Макарову
Май 1964 г.

Дорогой Александр Николаевич!

Был я в апреле проездом в Москве, звонил Вам, звонил, но так и не дозвонился. Или неправильно набирал, или дома никого не было, не знаю. Мне хотелось увидеться с Вами и посоветоваться по одному делу. И по делу-то весьма печальному.

Я как-то писал Вам о том, что в «Современнике» собираются печатать мой большой рассказ*, и просил его прочесть. С рассказом этим много было у меня связано переживаний, много, и, как мне кажется, небесполезно я над ним думал и работал. Все шло хорошо. Я посмотрел редактуру журнала. Она была осторожна, приемлема вполне. Затем мне дважды присылали сначала гранки, а затем верстку, и я совсем уж пришел в умильность от такого внимания журнала.

Но вот, будучи в Ессентуках, я увидел журнал, полистал его и чуть было не заплакал. Правда, чуть не заплакал самыми настоящими слезами от боли, потрясения и обиды — рассказ был весь изуродован, изрублен, оба яйца у него оказались, как у евнуха,

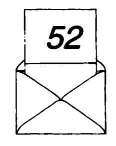
---

* Речь идет о рассказе «Восьмой побег»

отрезаны, местами кто-то заполнял паузы, чтобы хоть соблюсти видимость логики. Я в состоянии полной ярости написал записку Зубавину и назвал его двурушником и предателем, и это все, что я мог сделать, сознавая, что управы в нашей литературы не найти.

Дома меня ждало письмо Зубавина, где он писал, что он и все они хорошие, а цензура бяка, и все это наделала она, а они «спасали» рассказ, который было приказано снять, и что обзываться всякий может, а вот войти в положение никого нету...

Вот обо всем этом я и хотел с Вами поговорить, но и ладно, наверное, что не застал вас. Что бы Вы могли сделать, чем мне помочь? Я вот только что прочел статью Гулиа в «Литературке» за подъем литературы, статью хорошо, но кокетливо написанную. И так, и этак Гулиа вертится и все говорит, что-де редакторы должны быть решительны и не зажимать авторов, и доверять им, и т. д., и т. п. Но кто же и когда скажет, что цензура нас замордовала, что это оскорбительно для советских людей, добывших право на доверие не словами, а делами, кровью своей, ранами, страданиями?! И что все разговоры, при наличии намордника, о том, что у проклятых буржуев худо писать, более чем пустая болтовня, и что стыдно писать статейки о том, что в каком-то штате чуть было не ввели цензуру на печатное слово, и печатать эту статейку в газете, контролируемой сверху донизу цензурой и подписанной так называемым литом, где сидят люди, ничего в литературе не понимающие. Нет там ни Гончаровых, ни Жуковских.



Неужели при нашей жизни так и не снимут с нас намордник? Неужели мы так и будем, как в десятислойном пироге пребывать, где десятым слоем является еще и цензор свой, доморощенный, в брюхе и печенке сидящий.

Все вспоминаю эпиграмму, невеселую, старую, но подходящую ко времени: «Орел был у нас председатель. Зайчишка был наш издатель, а критиком был медведь. Чтобы быть российским писателем, б-а-а-а-альшое здоровье надо иметь!»

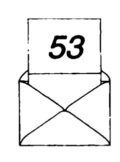
В общем, наверное, к лучшему, что я не попал к Вам жалиться. Чего сделаешь? Рассказ только жалко очень. Но меня так уродуют не впервые. Меня Котенко в «Молодой гвардии» так обиходил один раз, что повестушку «Звездопад» я едва узнал.

А так я живу ничего. Читаю Залыгина. Хорошо! Добираюсь следом до вещи в Вашем переводе, или однофамильном? Сам в ближайший месяц-два добью все же повесть, над которой работаю вот уже несколько лет, и пошлю ее в «Новый мир» тоже. Может, и возьмут.

Сейчас почти все время нахожусь в деревне. Взяли бы Вы командировку в Пермь в августе, например, и прилетели бы в Пермь. Тут писательская организация есть, о которой никто и ни хрена не писал никогда. И побыли бы у меня хоть с недельку в маленькой деревеньке. Лететь до нас 3 часа, а ехать сутки — это из Москвы, а до села на пароходе полтора часа.

Всего доброго.

Ваш Виктор



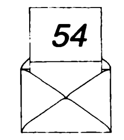
А. Макаров В. Астафьеву
7 июля 1964 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Ужасно обидно, что Ваше письмо я прочел только что, устроил себе гулянку, порвал с Москвой и месяца полтора не был там, и слышать о ней не хотел. Помочь я Вам, конечно, не мог, а теперь-то уж как-то и сетовать поздно. А Вы думаете, у меня хоть одна статья появилась в том виде, в каком я ее написал? Да наши редактора любым цензорам двадцать очков вперед дадут. Я тоже иногда вспоминаю старую эпиграмму, но не ту, а другую, поскольку пишу статьи:

Здесь над статьями совершают
Вдвойне кощунственный обряд,
Как православных их крестят
И как евреев обрезают.

Писателю всегда жилось трудно, таков уж его удел. Помню, в № 1 «Молодой гвардии» опубликовали мы письма Горького. И в одном из них как раз была такая фраза. Так не Горькому, а мне так влетело от товарища одного, не буду называть его фамилию, скажу только, что он был одним из «хозяев» журнала, тогда двойного подчинения, что мне сразу же после выпуска первого номера редактором быть расхотелось. И хотя второй «хозяин», к которому я, огорченный, помчался, меня нравственно поддержал, сказав «а как же, конечно, трудно», но поддержал, так сказать, втихомолку, в личной беседе. Вот

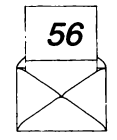


то-то. А из сборника «Серьезная жизнь» мне пришлось снять главу о «Живых и мертвых», кое-какая критика романиста показалась не ко времени. Получилось довольно смешно, книга вышла через два года после романа, в ней есть статья «Симонов как военный романист», а о последнем романе в статье ни слова. Кстати, то обидно, что критика-то была, видимо, в верном направлении; в «Солдатами не рождаются» К. М. не только менее анахроничен в изображении психологии, но и более тонок, на мой взгляд, и сумел показать и крупные фигуры, мне кажется, удачно.

Впрочем, к чему-то я вдался в воспоминания. Ах, вот к чему — я даже не с цензорами столкнулся, а только с редакторами. Не особенно я верю в рассказ Зубавина о злоключениях Вашего рассказа — мужик он добрый и выпить любит, но как раз незадолго до этого его здорово взгрели, и внимание к журналу было особо пристрастное. Вот Вы и рассудите. Что же касается матери нашей цензуры, так о ней, по слухам, был разговор Твардовского аж на самом верху. Поживем — увидим, пока же это привело лишь к тому, что журнал начал запаздывать — цензора этого редактора побаиваются, но и позиций своих не сдают. А в общем Ваше решение послать повесть именно в этот журнал, пожалуй, правильное, если она такова, как Вы мне писали. Хотя очень мне хотелось бы видеть Вас в «Знамени». Может быть, все же подумаете? Не все мне в «Новом мире» нравится, Бондарев последний совсем не понравился, хотя я испытываю к Ю. В. большую симпатию, но Залыгин — действительно, здорово, на-

писано хорошо. И вот удивительное, впрочем, вовсе не удивительное дело, как он в последние годы расписался, ведь очень серовато, по-очерковому писал долгие годы, эта очерковость еще в «Тропах Алтая» сказывается. В том-то и проклятие самой профессии, что пишешь хорошо только тогда, когда пишешь как на духу, а там уж в листа иль не в листа — это от времени, от обстановки зависит и, как ни тривиальна эта истина, от международной обстановки. Насколько помню, всю жизнь так. И пока два мира существуют, аминь, ну а что касается, что Беликовы всегда находятся с их «как бы чего не вышло», так ведь это явление, так сказать, национального характера, и во мне Беликов этот сидит. Впрочем, я, кажется, зарапортовался, собственные недостатки начинаю оправдывать национальным характером... А все же, как ни говори, до чего же умны были наши Чехов да Лесков, многое они в нас такого подметили, что читаешь и со смеху помираешь, и плакать хочется.

Ну как же это все-таки Вы, будучи в Москве, дозвониться мне не могли? Никуда я в апреле не уезжал, дома сидел, ну, может, по утрам к телефону не подходил. Это в Вас тоже национальный характер сказался — ах, мол, не отвечает, значит телефон не тот. Но ведь список членов Союза в каждой редакции есть, и там телефон этот обозначен Д-3-00-90 доб. 531. А у Вас, может быть, 31. А теперь добавили на коммутаторе пятерку, и сами же, между прочим, отвечают на запрос 31 — такого телефона нет, хотя прекрасно знают, что это одно и то же. Тоже черточка характерная.



Ну так вот, коли доведет господь побывать в Москве, уж попытайтесь дозвониться. Лето, впрочем, высижу в Тарусе, вплоть до октября, видимо. А что Вам стоит заехать сюда? Два часа поезд до Серпухова и час автобус прямо от вокзала до Тарусы. К Паустовскому свожу. Вчера как раз встретились на улице и грустно поговорили о том, что рыба в Оке переводится. Я ему — всего две уклейки поймал. А он — и то хорошо.

Полтора месяца я ездил да бездельничал, пора, наверное, и за работу приниматься. Висит на мне уже третий год книжечка о Межелайтисе, договорная, а что-то нейдет она у меня, ведь литовского-то языка я не знаю, оригиналов-то не читал. Так вот дашь сдуру обязательство, а потом мучаешься, и главное не договор, конечно, а то, что Межелайтису натрепался и он еще два года назад по всем памятным местам возил и коньяком поил. А я тогда, перед коньяком, конечно, написал о «Человеке» и показалось, что смогу и книгу написать. Уж больно он как человек интересен и поэт, конечно, своеобычный. Не знаю, говорил ли Вам, что зимой вдруг ни с того, ни с сего для Гослита написал пять листов о Демьяне Бедном и опять мучаюсь — все кажется, что чего-то недотянул, а может быть, и перетянул. И о прошлом, оказывается, нелегко писать. Ну куды крестьянину податься, а?

А в Пермь я все же когда-нибудь тоже выберусь. Вот бы только с Межелайтисом покончить.

Ваш А. Макаров

57

В. Астафьев А. Макарову
3 ноября 1964 г.

Дорогой Александр Николаевич!

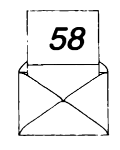
Я лишь сейчас вот вернулся из деревни. Заканчивал работу над повестью. Что творилось в миру — не знал вовсе, ибо последнее время почта в село не приходила, а радио там нет. Пытался я достать себе «Спидолу» или «Транзистор», но их барские сынки и дочки раскупили и в Ялту да в Пицунду с собой увезли, хрестьянам опять ничего не оставили.

Новостей тут без меня свершилось много, оказывается, и даже вон подписку объявили свободную, и по 1450 гр. муки к празднику дают. Прежде, при подобной ситуации, каторжников миловали, а теперь вот муку и газеты дают... Как меняется все!

Я очень напряженно работал. Повесть добил. Устал смертельно. А тут еще новость: в связи со съездом писателей ускорили сроки отчетно-выборных собраний. У нас собрание сразу же после праздника, и опять мне предстоит отбиваться от должности секретаря СП. Если отобьюсь, числа 20-25 ноября катану в Москву.

Рукопись я сегодня высылаю в «Знамя». Пришло письмо из «Знамени» от Виталия Сергеевича Уварова, он ко мне очень хорошо относится и обещает быстрое прохождение повести. И потом все же в «Знамени» я печатался первый раз, выйду к «широкому читателю».

В свою очередь, я очень прошу Вас, если позволяет хоть немножко время, прочесть мою повесть. Уж окажите мне любезность! Не просил бы так на-



стойчиво, если бы рукопись (повесть) не была мне близка и дорога. Виталию Сергеевичу я написал о том, чтобы он Вам предложил почитать рукопись, и он, вероятно, Вам позвонит или скажет об этом при встрече.

Несмотря на большую работу, я много бегал по лесу с ружьем. Осень стояла у нас добрая с перепадами ненастья, после которого вёдро замечалось и ценилось душою еще больше. Прочел несколько интересных книг. И особенно неожиданным открытием для меня была книга мосфильмовских режиссеров «Когда фильм окончен». Очень серьезная, искренняя и глубокая книга.

С праздником Вас и семейство Ваше!

Ваш Виктор

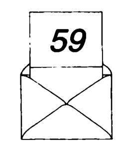
В. Астафьев А. Макарову
26 декабря 1964 г.

Дорогой Александр Николаевич!

Поздравляю Вас и всех Ваших домашних с Новым годом! В первую голову желаю здоровья и все той же неутомимости, о которой мечтают сейчас все. И чтобы войны не было.

Я только что вернулся из Свердловска. Был на совещании. Из «Знамени» пока нет никаких результатов. Очень переживаю за повесть. Так, с тревогой, и войду в Новый год. Но такова наша жизнь.

Крепко жму Вашу руку — Ваш Виктор



1965 год

А. Макаров В. Астафьеву
Начало 1965 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Спасибо за поздравления!

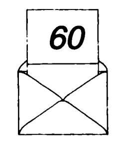
И Вам счастья, радости, успешной работы. Только что вернулся из Оренбурга, где прослышал от редактора «Урала» о Вашей буйной речи*, что как ка-

---

* Комментарий В. П. Астафьева: «Не речь, а статья в журнале «Урал» — «Нет, алмазы на дороге не валяются», которая вызвала некий переполох-полемику, этакую бурю в провинциальном самоваре, и я собственными глазами видел бумагу, в которой указывалось, что не много не мало как «нарушил ленинские принципы». Очень у нас, в провинции, любят употреблять всуе великие имена и «припечатывать» прорабатываемого броскими, «разящими» цитатами. Прилипчивая эта привычка тащится еще с тридцатых годов, в чем легко убедиться, перелиставши любую подшивку газет тех лет». (Зрячий посох. М., 1988. С. 29.)

«Прочитав статью «Нет, алмазы...» несколько лет спустя, Александр Николаевич улыбнулся, махнул рукой и сказал, что, слава богу, не стоим на месте, статьи подобного рода, где больше молодого задора и полемического азарта, чем глубокого смысла, сейчас печатают любые, даже самые сверхосторожные газеты и журналы безо всякого огляда.

Я включил статью «Нет, алмазы на дороге не валяются» в книгу своей публицистики, изданную в издательстве «Современник», и в правоте слов покойного критика легко убедиться. (Там же.)



мень в пруд. В «Знамени» всегда едут не на волах, а на буйволах, лишь бы доехали. Ей-богу, я уж и не рад, что связал Вас. Не хватало мне, чтобы Вы по их милости охладели ко мне. Не надо! И как же Вы тогда не приехали? Говорите точнее. Знаете ли, родной, ей-богу, хватает для писателя и того, что сердце болит, и почки ему ни к чему.

Ваш А. Макаров

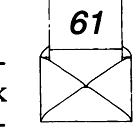
В. Астафьев А. Макарову
16 января 1965 г.

Дорогой Александр Николаевич!

Я нахожусь сейчас в «своей» деревне. По возвращении из Москвы ездил в Свердловск на совещание, которое, по-моему, никому не нужно было и пользы от него никакой. Только и пользы, что банкет, где все упились и наговорились.

Вернувшись домой, работал над «Кражей», но устал, плюнул на все и рванул «на лоно». Хорошее оно, это «лоно», прямо слов нет и сказать, как тут тихо, снежно, голубо и здорово!

А тут еще и удача. В первый день, как приехал, взял зимние удочки, спустился на речку и в первой же лунке поймал шесть хороших хариусов. Впервые в жизни поймал зимой хариусов, да еще сразу шесть! Потом мы с сынишкой рыбачили еще три дня, и поймал он всего одного хариуска, а я ничего больше. На том, видно, и кончилась моя планида или фарт. А вчера ударили морозы. Радио говорит:



«кратковременные». Посмотрим. Я времени не теряю зря. Сижу и делаю набросок киносценария, за который уже давно получил и проел аванс. В успехе дела я шибко сомневаюсь, но аванс отработаю и от повести отдохну. А это уж немало.

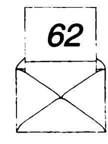
После праздника я давал телеграмму в «Знамя», просто чтоб подшевелить немножко «машину». Ответа нет. Я беспокоюсь очень. Ведь если меня забодают, я могу остаться вне журнала вообще, ибо «Молодая гвардия» в лучшем случае будет ждать меня до лета, а потом возьмет за бороду.

Ну, да бог с ней, с этой повестью! Не стоит о ней и говорить. Хорошо уже то, что я ее опять перетряс, пересмотрел и дорабатывать заканчиваю. Глядишь, лучше и завершеннее станет. Это не так уж мало. И потому уже я благодарен Вам и никак не могу «охладеть». Это уж Вы зря. Я так просто с людьми не расхожусь. Повесть повестью, а дружба дружбой. И не стоит говорить об этом больше.

Я — делегат съезда. Получил карточку, заполнил. Значит, скоро приеду, и мы еще где-нибудь посидим в уголке и покалякаем, и, глядишь, и выпьем на этот раз, отменим «сухой закон», навязанный женами. В Новый год я грипповал. А сейчас чувствую себя хорошо и только об одном жалею, что дела вынуждают через три дня покинуть деревню. Так бы и жил здесь век!

Обнимаю Вас! Привет супруге Вашей, Аннете и всем домашним.

Виктор



В. Астафьев А. Макарову
Начало марта 1965 г.

Дорогой Александр Николаевич!

Повесть я доделал уже больше недели как и что-то прихворнул опять — ангина прихватила, да какая-то непривычно тяжелая. Сейчас уже поправился почти, но ничего делать не могу из-за неопределенности с повестью, навалилась тоска, и от тоски вот и пишу Вам, ибо из-за болезни даже на рыбалку ехать нельзя, да и холодно нынче стоит.

Вчера мои орлы ездили на рыбалку, и сын ознобил нос и также все брюшки пальцев, поймав при этом четырех окуней и трех сорожек.

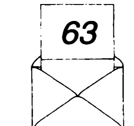
Что же это «Знамя» так меня мучает? Была телеграмма дней с десять назад, скоро, мол, и опять ни гу-гу. Я уж извелся весь, а главное, делать ничего не могу, и сомнения меня всякие одолевают, какая-то смута на душе и думы насчет своей писательской неполноценности.

Все это, в общем-то, блажь, и я не хотел писать о ней, да уж больно невмоготу.

Читал вчера Вашу статью в «Литературке»*. Меня как-то очень покоробили Ваши слова «и пусть автор не обижается...» Чего уж Вы с поклоном критикуете Вл. Солоухина? Он и без того избалован вконец и обнаглел от этого, судя по демагогии, разведенной в «Литературке» насчет обрядов. Людям жрать нечего, они, крестьяне наши, пребывают в

---

* Речь идет о статье А. Макарова «Художник — искусство — время» (Лит. газета. 1965. 13, 25 февр., 2 марта).



равнодушии и запустении, а Солоухин хлопочет насчет обрядов и пишет сельские идиллии. Хитрец он, очень талантливый и оттого еще более вредный хитрец-демагог.

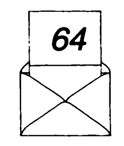
Недавно был бригадир из нашего села и сообщил, что в клубе при демонстрации фильма «Председатель» к концу сеанса осталось два человека. Люди плюясь уходили из клуба, и говорили, что им все это и у себя видеть надоело, а тут еще в кино показывают...

Я, в общем-то, был готов к этому, но очень хотел ошибиться в предположении и удручен был этим сообщением вконец. Так что деликатничать с теми авторами, которые вроде бы врать не врут, но и правды не говорят, не следует, наверное. Очень они много вреда принесли. И Солоухин — это тонкий перерожденец лакировщика, который видит каждую травинку и даже каплю росы на ней, но бревна не замечает, рыло в кровь разобьет и все равно не заметит, бо за это не платят, за бревно-то...

Говорят, съезд снова перенесли. Может, его зажмут, как когда-то совещание молодых зажали? Если так, то в Москву я не скоро поеду, а чего-то так хочется потолковать. Ну да авось чего с повестью и выйдет. Сняли бы скорее камень с души — туда ли, сюда ли объявили, и делу конец.

Если съезд не скоро, Вы мне черкните маленько при наличии свободного времени, а если съезд скоро, то и писать не надо.

Я, наверное, сбегу в деревню на недельку, как немножко потеплеет.



Что это происходит на литфронте? В правление Московской и Ленинградской организации не вошли — Соболев, Прокофьев, Грибачев, Сафронов и иже с ними? Если так дело пойдет, то можно дожить до того, что и правду говорить и писать станут?.. Даже страшно представить себе это!..

Привет всем Вашим домашним, а псу-увальню отдельный: я часто его вспоминаю, как увижу у приятеля такого же дураковатого и доброго пса-гончака. Вернее, он был задуман как гончак, но в городской жизни его превратили в этакую большую жизнерадостную игрушку.

С приветом — Виктор

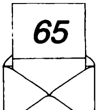
*А. Макаров В. Астафьеву**
8 апреля 1965 г.

Дорогой мой Виктор Петрович!

Большое Вам спасибо! Прочел с интересом и думаю, что Вы в своей оценке во многом правы. Только мне думается, что в оценке прошлой «независимости» Камю не так уж прав**. Но это частности. Очень рад, что успел сегодня получить Ваше письмо, я уж было начал беспокоиться Вашим молчанием. Мне даже неловко, что Вам пришлось переступ-

---

* Видимо, ответ на несохранившееся письмо Астафьева.
** Комментарий В. П. Астафьева: «Речь Альбера Камю при вручении ему Нобелевской премии». (Зрячий посох. М., 1988. С. 30.)



кать на машинке добрый лист*, я не предполагал, что это так много.

Завтра в семь утра улетаю в Болгарию на три недели по культурному обмену. Им там про меня наговорили как про знатока поэзии, и они, кажется, ждут каких-то лекций обзорных, а я и лекции читать не умею, и поэзией последние годы как-то мало интересовался. Ну да будь что будет. Вернусь и напишу Вам, как я позорился.

Жена Вам кланяется. В Тарусу будем Вас ждать обязательно, помните, что там и пиво, там и мед. Паустовский там живет.

Ваш А. Макаров

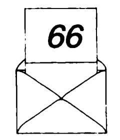
А. Макаров В. Астафьеву
3 ноября 1965 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Вот тут и попробуй не верь в телепатию, предчувствия, мистику и вообще всякую Wahlverwandschaften. Днем опустил Вам письмо, а вечером от Вас открытка. И очень захотелось еще поговорить. Очень рад, что с повестью все идет своим чередом. Они молодцы, «новомирцы», — выпустили девятый номер такой, что читается от доски до доски. Не все одинаково хорошо, но все интересно. Даже Сэлинджер, который ровно ничего нового не сказал, но

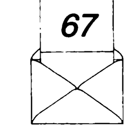
---

* Комментарий В. П. Астафьева: «Нет, я не перепечатывал ничего на машинке. До сих пор не умею пользоваться ею, все печатает жена». (Зрячий посох. М., 1988. С. 30.)



зато с каким вывертом! Твардовский в стихах, по-моему, превзошел сам себя. А еще говорят, что у нас нет поэтов, что разве сравнишь нас, грешных, с XIX веком. А я вот подумал, за 50 лет — Маяковский, Есенин, Пастернак, Твардовский — целых четыре! А за 50 лет после Пушкина — Лермонтов, Тютчев, Некрасов — всего три. Блок только родился через 50 лет. Предлагали мне написать об этом цикл, но что тут можно написать. Все понятно без растолкований. Да к тому же содержание растолковывать не дай бог, гусей дразнить, а слог, язык — что же тут нового скажешь? Читал я эти стихи, и было мне почему-то грустно. Есенин писал: «Я последний поэт деревни». И почему-то подумалось, что Твардовский мог бы сказать: «Я последний поэт России», именно России, а не СССР. Уйдет Твардовский, и никто уже и никогда не заговорит так по-русски душевно, с такими переливами языка, ясного и точного, такими звуками родной речи, идущей с поля, от села, а деревня — хранительница национальности (как утверждал один марксист, имя коего ныне употребляется разве лишь с присовокуплением другого слова, а отдельно как бы и не существует). Только где она теперь, деревня? Так вот и не напишу я о Твардовском.

Вот о Евтушенко написал. И много. Может быть, в похвалах конкретных и перебрал, но надоело, что все его только лают. И если самое слово «Знамя» Вы можете не заметить на обложке, взгляните в № 10. Написана статья была к № 7, но они ее как-то допереклядывали до № 10. Рецензия же на книжку

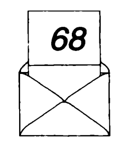


Карповой, право, ничем не интересна. Книжечка у нее честная, дотошная, но скушноватая.

Вчера вечером пришла откуда-то жена и сказала, что умер Дм. Ал. Поликарпов, и мне звонили с предложением пойти в почетный караул. Не пойду я сегодня в почетный караул, а уеду, как рассветет, в Тарусу числа до десятого. А Дм. Ал. очень жаль — хороший он был человек, честный, прямой, конечно, «продукт сталинской эпохи», но если бы продукты были такими, так и эпоха была бы другая. И трудно ему приходилось последние десять лет. Думаю, что даже более трудно, чем в 1946 году, когда Сталин изгнал его из СП за то, что в оценке «Спутников» Дм. Ал. решил показать себя бóльшим сталинистом, чем сам хозяин. Я его любил, да и он ко мне относился хорошо, всегда по-отечески отчитывал. А отчитывал он по-особому — получалось както так — мол, все ты, дорогой товарищ, сам знаешь и понимаешь, так какого же лешего... И очень грустно, что не услышишь больше его голоса. Бывало, чем тверже этот голос становится, чем непререкаемей, тем почему-то все легче и даже смешнее... Не знаю, как у других, а мне всегда весело становилось. Жаль, последнее время я с ним не встречался. Разве что в президиуме на вечере какого-нибудь 2000-летнего классика.

Очень буду ждать вашего приезда.

Макаров



В. Астафьев А. Макарову
Ноябрь 1965 г.

Дорогой Александр Николаевич!

Сижу я в деревушке, пишу — хорошо так жить! Недавно лишь остановился лед, а то все жил без вестей, без почты, правда, радио слушал — «Спидола» у меня. Было трудно настраиваться работать после длительного перерыва, но у меня есть хороший причал, рассказы о детстве, и как мне нужно почать работу, я берусь за этот цикл, работаю с радостью, с удовольствием, и от них, от этих вещей, уже перехожу к более «серьезным», а погляжу, погляжу потом и убеждаться начинаю, что то, чего мне кажется «серьезным», куда как хуже, лукавей и на что-то уже похожей, чем мои легко пишущиеся, бесхитростные и ни на что, кроме точной памяти о любимых людях — дедушке и бабушке, да о своем грустном и прекрасном детстве не претендующие.

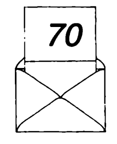
Постепенно собирается книжка — уже есть рассказов восемь, больших и маленьких. Только что закончил, и непременно Вам, для веселости настроения, пришлю рассказ «Монах в новых штанах» (пишу ученической ручкой и, как в школе, делаю кляксу за кляксой) — самый большой это рассказ в цикле. Уже продумал, как составить книжку, чем начать, чем кончить — есть внутренний заряд разбить всю эту надуманную литературу об «экзотике» Сибири бесхитростными и точными рассказами об этой очень русской, очень простой, очень доброй земле, в принципе — ни людьми, ни языком, ничем, кроме богатств земных и, может быть, душевных, не

отличающейся от остальной России. Придумали всю Сибирь командированные писатели, и эта выдуманная земля вроде бы уж возобладала, и даже сибирские писатели многие, из молодых особенно, уж начинают гоняться за выдуманной землей и понять того не могут, что тягаться им тут с Яковлевыми, Алексиными и другими — Баруздиными и Аксеновыми силенок не хватит — эти на ходу подметки рвут.

Нужно мне в книжку написать еще пять рассказов — это я решил сделать к 68 году. Мучаю давно уже «серьезный» рассказ «Синие сумерки», и кто кого — он меня, или я его, но должны домучить, — тоже пришлю его Вам посмотреть, что-то меня в нем не устраивает, что-то в нем «не звучит» — может быть, Вы увидите?

Пришлю я Вам это, как только жена перепечатает на машинке. В «Новый мир» пока не зовут, а я уже отвык от повести, весь в новых замыслах, и как за нее буду снова приниматься — ума не приложу. Очень мучает меня маленькая повесть о войне. Есть уже название, все есть — нет лишь решимости взяться за нее. Всякий раз, как писать о войне, я, ровно перед взаправдашней атакой, робею, набираюсь духу, все выверяю, выверяю, как бы чего не забыть, где бы не соврать, не слукавить, и это ведь все при том же «тик-так», которое стучит каждому из нас.

Вот еще замысел, еще в утробе она, повесть-то, а уже знаешь, против чего будут возражать издатели, и тратишь уйму мыслительной продукции на то, как сказать все и чтоб «не заметили». Все-таки в очень сложных мы условиях работаем, и надо дивиться



жизнестойкости и приспособляемости русской нашей литературы. И что бы мы действительно делали, чем бы жили, если б в самом деле ко времени и к пути не появлялись у нас Твардовские?

Я так был рад тому, что Вы о нем написали, что и слов нет сказать, как рад. Глубинка наша писательская, пользующаяся ошметками московских сплетен, клянет мужика, ничего не понимая, «объевреился!», «интеллигентщину и снобизм в журнале развел!», «Россию затирает поэтическую, чтобы самому первым быть» и т. д., и т. п. Слушаешь такое, индо и печаль возьмет и злость на дубовость нашу и графоманскую периферийную озлобленность, которая предпочитает написать роман, не думая, страниц этак на 800 или тыщу, о том, как «был ничем, а стал всем», а этот бездумный, пошлый роман, принятый местными властями и хваленый на читательской конференции, Твардовский вот не печатает.

Правильно и делает! Я его уважаю давно, и не потому, что вот он меня там приголубил, может, еще и забодают. Я и видел-то его один лишь раз, и говорил с ним минуты три, не более, а обогрел он меня, как русская печка, у которой тепло унутреннее, долгостойкое, и от него, как от доброго лекарства, проходят болезни костяные и насморки всякие. (Во завернул, а!? Твардовский — и русская печь! Пусть еще кто придумает! Это влияние жизни в деревне. Вчера без жены я топил эту самую печь, сунул в нее голову — лез я за чугуном и опалил себе весь чуб.)

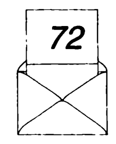
71

Девятый номер «Нового мира» я караулил, дети мои караулили и все-таки не скараулили — его мгновенно расхватали в рознице. Теперь буду ждать очереди на него в Союзе, и там же «Знамя» возьму с Вашей статьей, как возвращусь (числа 22-го из деревни). Меня очень радует, что наиболее разумные, не оголтелые дубари, а доподлинно читающие люди знают «Новый мир» и все чаще и чаще раздаются голоса: «это единственный стоящий журнал» — может, кого-то и о чем-то заставит это задуматься.

А надо бы задуматься-то!

Ездил я по читинским землям в одной бригаде с Ник. Ник. Яновским из Новосибирска — милейший дядька, умница и разумница, суждения его о литературе откровенны, прямы, и вот прислал он мне свою книгу «С веком наравне» и только что вышедшую в Новосибирске книгу о современной прозе. Прочел я ее до середины и до того ли мне стало тошно, и не из-за книги, книгу плохую всяк может написать, а из-за Николая Николаевича, из-за того, что он с серьезным видом ратует за бесспорное, утверждает утвержденное, убеждает в величии социализма и полезности его миру мыслящему на основе таких созданий этого великого направления, как Балуев, ангелочки-девочки из повестей Ильи Лаврова и сконструированный хитромудрым Сашей Рекемчуком депутат местного совета Коля Бабушкин!

Хотел уж я написать Николаю Николаевичу из села этого заснеженного послание, а потом подумал: «Зачем? Ведь он же притворяется! Если б заблуждался — другое дело. А знать — хорошей, много-



страдальной души человек и книжку с хорошей надписью прислал». Вот тут и думай чего хочешь!

Еще читаю книгу Черкасова «Записки охотника Восточной Сибири», случайно купленную в уцененных книгах. Бог мой, какой это кладезь языка, наблюдательности, душевности, а сам Черкасов — это ж образец кристально честного русского человека! На душе тепло делается, как такое и о таком читаешь!

Ничего письмо-то я Вам накатал! Дал стране угля! Целый вечер будете разбираться, потому как поболтать мне здесь не с кем — терпите!

Как приеду в Москву (все надеюсь, что скоро позовут), так Вам и позвоню сразу, а может, когда и в деревушку к себе вызову, отдохнуть маленько от столицы. Вот бы мы уж поболтали под треск и щелк дров в русской печке. Читали ль вы стихи Джонса Конферорда в № 7 «Нашего современника» за прошлый год? Я их очень полюбил. Все вот хожу по избе и твержу:

Мой дедушка Дик
был славный старик —
храню до сих пор его трубки.
Был смел он и прям
и очень упрям
и в спорах не шел на уступки.
Мой дедушка Дик
силен был как бык,
ругался, как шкипер на баке.
Был дока старик,
мой дедушка Дик,
в работе, в попойке и в драке и т. д.

Особенно полюбилось мне его «Кафе»; а строчки эти совершенно неожиданные в конце: «И вертится планета, и летит к своей неотвратимой катастрофе» всякий раз берут за живое и еще наводят на мысль о том, что наши поэты не умеют, а также не могут, из-за «тик-так» позволить себе говорить так вот «вольно» обо всем, чего питает людей и души.

Впечатление от стихов последнего времени (из тех, что читал, кроме яшинских) — у нас очень много благополучных поэтов. Это в тот миг, в тот час, когда планета «вертится и летит...» в самом деле куда-то к чертям на кулички. А может, мне из деревни так кажется? Может, в Москве она летит совсем по-иному? По другим орбитам?

Если не приеду, напишите мне: куда и чего у вас там летит.

Привет Наталье Федоровне, Аннете.

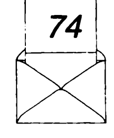
А Вас обнимаю за душевные письма и особенно за строки о Твардовском. Славно у меня на душе от них, поэтому и расписался так неудержимо.

Ваш Виктор

В. Астафьев А. Макарову
Ноябрь-декабрь 1965 г.

Дорогой Александр Николаевич!

Поскольку в Москву меня не зовут и теперь до Нового года едва уж позовут, решил я Вам написать, так как по возвращении из деревни прочел Вашу



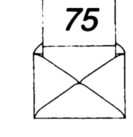
статью об Евтушенко* и, более того, следом за Вашей — сразу же прочел статью М. Лобанова в «Молодой гвардии» о той же самой поэме.

Меня всегда поражали надменность и высокомерие в статьях Лобанова, но тут он превзошел сам себя и опустился до методов старшины Приходько, который иначе воспитывать вверенного бойца не может, как поставить его перед строем и высмеивать его пороки, явные и старшиной Приходько придуманные. Главное, чтоб рота смеялась, чтоб унижен был боец и чувствовал себя мальчишкой, и чтоб его, старшины, хохлацкое самодовольство удовлетворено было.

Разумеется, меня очень порадовала Ваша статья так же, как радовали и предыдущие Ваши статьи о молодежи — взыскательной добротой, душевностью. За такую критику, помогающую осознать себя, свои недостатки, как на собраниях говорится, всегда хочется поблагодарить старшего своего товарища. А ведь замечаний, и куда более суровых, Вы сделали гораздо больше Евтушенко, чем Лобанов в своей статейке! Но тут, видимо, и отголоски той вознишки, что идет вокруг московского писательского корыта, дали себя знать. В столице нашей даже те, кто писать не умеют — преимущественно они! — чего-то все шуршат по-за спинами, как тараканы, охаивают чего-то и кого-то и фигу в кармане показывают «левым» или «правым».

---

* Речь идет о статье Макарова «Раздумья над поэмой Евг. Евтушенко» (Знамя. 1965. № 10)



А дел и поводов для них, куда более значительных поводов, в жизни шибко много, и, наверное, вот эта мышиная возня — один из способов спастись от тяжелых дум и грустной, порой даже трагической повседневности.

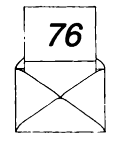
Чем больше осложняется жизнь и назревают в ней такие события, которые требуют от человека серьезности, тем больше появляется у нас людей пройдошистых, рвущих от жизни хоть пирога кусок или славы клок. С этой точки зрения мне и Евтушенко представляется сладкоежкой, и правильно Вы ему все время долбили, что пора мужчиною стать, тем более что желающих ходить в мальчиках и чтоб спрос с них был, как с мальчиков, и без того много.

Я закончил рассказы. Вам не послал, потому что Вы и без того забиты разными делами и чтениями. Послал самый большой рассказ в «Молодую гвардию» его там взяли на «уру», потому что он безобидный, а сейчас время литературы или «героической», или безобидной. Потому-то и в «Новом мире» выжидают с «Кражей». Поругали их в верхах за серьезную литературу, хотят, чтоб они до «Октября» опустились, тогда ими довольны будут.

Несмотря ни на что, я начал писать новую повесть о войне... Решился и помаленьку раскачиваюсь, набираю разбег.

Говорят, в январе будет пленум и меня вызовут. Значит, увидимся и наговоримся. У меня что-то много за последнее время разного накопилось.

Читали ль Вы «Записки княгини М. Н. Волконской»? Если нет, я Вам их дам почитать. Приобрел



в Чите, в уцененных книгах! Молю бога и благодарю за то, что наткнулся я на эти уцененные книги. Из нашей-то одичалости и глупости прикоснуться к такому светлому роднику, к такому благородству! Даже и не верится, что могли такие люди жить на этой земле, и все подозреваешь, что бабы эти театралки были. Но театралок хватило бы на дни, на недели, а эти по двадцать пять лет выдержали, девушками уехали и старухами вернулись.

Мда-а, «были люди в наше время!..»

С Новым годом Вас, Александр Николаевич, самое главное, здоровья Вам и рабочего ладу! Семейство все Ваше тоже поздравляю с Новым годом, и мое семейство шлет свои поздравления.

Пусть еще и этот год — продюжит, обойдется без войны!

Ваш Виктор

А. Макаров В. Астафьеву
20 декабря 1965 г.

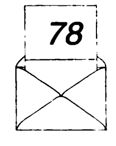
Дорогой Виктор Петрович!

Все-таки очень жаль, что я не увижу Ваших рассказов до их появления в печати. Когда-то еще это будет. Записки Волконской я читал когда-то давным-давно в отрочестве. Помню ее больше по Некрасову, который воспользовался этими записками в «Русских женщинах». Буде Вы их захватите — перечитаю с удовольствием. Письма Ваши прямо каким-то лучом врываются в мою зимнюю, серую жизнь, то о речке

подмерзающей напишете, то о благородстве женском, хотя и давнем. А я сижу, как в одиночке, в своей комнатушке, откуда только серые заборы видно, и строчу, строчу, а зачем и кому это надо — не знаю. Вот уже месяц путаюсь со статьей о Семине и никак не могу в нем разобраться. Но должен же кто-нибудь сказать, что про него все не то, не то пишут, хотя в чем-то и правы. Его беда в том, что он поразительно одинок, внутренне одинок. И чем больше я в него влезаю, тем больше сам заражаюсь его настроением. А писать-то надо вопреки настроению.

Недавно побывал в Литве на съезде. Ездил с женой и даже с дочерью. Встречали, как своего, я ведь о них кое-что писал, а они народ добрый и много переживший. Обрек я было себя на пост похудения, но какой там пост, было такое смешение вина и елея, что кабы не семейные узы...

Москва меня прямо замучила. Звонки, звонки, звонки. «Лит. газета» требует, чтобы я писал (не один) какую-то ред. статью, которая совершенно уж никому не нужна. Влез в статью о тех, о ком когда-то писал в «Серьезной жизни». Родил Рекемчука и Липатова, вожусь с Семиным, а впереди еще Аксенов. Понаписали товарищи много, и надо же в этом как-то разобраться. К 1 января надо сдать предисловие к сборнику болгарских критиков. А что я знаю о болгарской критике? Ровно ничего, кроме нескольких самих критиков. И еще не позднее 5-го надо вернуть книжку о Межелайтисе, в которой надо сделать кой-какие доделки.



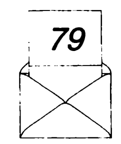
Голова идет кругом, и хочется на все плюнуть и сбежать куда глаза глядят. Но от себя не убежишь.

Ну вот, поныл и вроде легче.

Поздравляю Вас и все Ваше семейство с Новым годом. С ним я еще не знаком, но ведь и с Вами мы когда-то письмами познакомились. Наташа и Аннета тоже Вас поздравляют.

Желаем всего, что принято в таких случаях желать, главное — не болеть бы никому. И еще очень желаю, поскорее бы приезжали Вы.

Ваш А. Макаров



1966 год

В. Астафьев А. Макарову
Март 1966 г.

Дорогой Александр Николаевич!

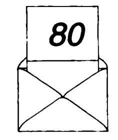
Давно я Вам не писал, но издаля все ж слежу, где Вы бываете и чего пишете. Купил тут недавно № 2 «Знамени», но руки еще не дошли прочесть Вашу статью* и, верно, читать буду уж сразу в двух номерах — это даже и лучше.

А вчера на сон грядущий прочел я в «Лит. России» статьи Назаренко и Камянова, и у меня было точно такое состояние, как у того чалдона, который шел с собрания, а его спросили, о чем было собрание, и он ответил: «Да разве советские товарищи скажут, об чем оно было!»

Может, я уж отупел (много у меня нынче работы) или так уж умно зачали писать наши критики, что ничего не поймешь. Да и статья Ваша о «Брат-

---

* Речь идет о статье Макарова «Через пять лет» (Знамя. 1966. № 2, 3, 7, 8).



ской ГЭС»*, мне кажется, не давала оснований открывать дискуссию о сюжете, вопрос о коем и без того затуманен и запутан. Впрочем, у нас даже о таких понятиях, как правда, искренность, умели и умеют такое напутать, что потом всей деревней не разберешь, где уж чего. И вечно у нас так! Как только начинаются трудные для литературы дни, так тут как тут дискуссия о транскрипции образов Флобера или об истоках нравственного начала в произведениях древнегреческих драматургов. Прямо, как на войне — отвлекающий маневр, изготовление ложных позиций и стрельба по ним пустыми болванками.

Да, в общем-то, все старо! Вам уж и примелькалось, небось, все это, и устали уж, наверное, смертельно от недомолвок и всевозможной шумихи по поводу чего угодно, только чтоб от сути подальше?

А я все долблю и долблю бумагу, зная, что это и беда, и выручка. Перестань работать — раскиснешь. Последнее время писал киносценарий по своему рассказу «Руки жены». Один режиссер нашелся ставить фильм, а я не отказался, если фильма и не будет — денег дадут, а у меня нонче ни строчки не издается в связи с тем, что «Кража», кажется, плотно засела в редакционном столе «Нового мира» до лучших времен. Есть надо каждый день, к сожалению. На рассказах не прокормишься. Тем более что берут их с выбором, что побеззубей да со смефуечками, те подавай, а как посерьезней рассказ, так пишут, что

---

* В. Астафьев имеет в виду статью А. Макарова «Раздумья над поэмой Евг. Евтушенко».

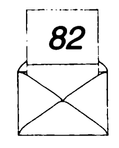
«сгустил краски», и возвращают. Так вот в 3-м номере «Молодой гвардии» идет мой большой рассказ «Монах в новых штанах», и Вы уж по названию услышите — ничего там серьезного быть не может, а вот днями я Вам пошлю посмотреть рассказ*, над которым бился, бился, и дороги ему пока нет. Правда, попросили в «Новый мир», и я послал его, так молчат чего-то. Может, обиделись на мой ответ по поводу «Кражи». Они предлагали мне подумать в связи с тем, что вышел-де запрет на спецпереселенцев и зэков, а я ответил, что думай не думай, а из собак енотов, как Лубков, я сделать не сумею, да и не охота. Вот примолкли чего-то.

Набросал я тут повестушку начерно листа на 2,5 о фэзэошнике военных лет**. Грустно-грустно получилось. Теперь сижу и ковыряю ее. Вообще осень и зиму я работал и работаю много. На 67-й год «Совпис» запланировал мою книжку рассказов, и я собираю ее помаленьку. Сдать должен к июню.

Пишу я Вам еще вот почему. Мне предложили поехать в Кемерово, на семинар, и я согласился. Это хороший способ встряхнуться и посмотреть новый город. В Сибири как раз будет весна, подснежники и т. д. Не поедете ли Вы? Вот было бы хорошо. Мы бы хоть наговорились. Я понимаю, что в Москве разговоров много, но я изголодался по трепу, а в Москву ехать незачем пока. Читали ль Вы рассказ Нагибина «Браконьер» в № 12 «Нашего со-

---

* Видимо, речь идет о рассказе «Синие сумерки».
** Речь идет о повести «Где-то гремит война».



временника»? Какой рассказище! Какой мастер! Я даже пытался написать о нем статейку, но когда перевалил за 20-ю страницу и еще до рассказа по существу и не добрался, понял, что не за свое я дело взялся, и бросил.

Какие-то до нас тревожные лит. слухи доходят, и не хотелось бы им верить, а подумаешь-подумаешь и вздохнешь — все может быть. Если не читали, прочтите в «Комсомолке» в трех номерах исследование о свободном времени современного городского человека нашей страны. Оч-чень важнеющий, на многие мысли наводящий документ!

Ну вот, маленько поговорили с Вами.

Если некогда, на ответ время не тратьте, а лучше приезжайте в Кемерово!

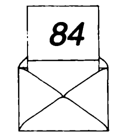
Ваш Виктор

А. Макаров В. Астафьеву
11 марта 1966 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Что-то больно мне тошно. Ездил в Воронеж на какие-то обсуждения книг, издаваемых «Совписом» по отделу критики. Вернулся и захандрил. Правда, и поехал-то в каком-то состоянии душевной невесомости. Может быть, потому, что весна и на улице сырость и слякоть, может быть, потому, что всякие совещания на меня нагоняют тоску. Главная беда в том, что застрял где-то на $^4/_5$ статьи об Аксенове, которая должна была попасть в № 5 «Знамени», а теперь не знаю, попадет ли и в № 6. И вроде знаю,

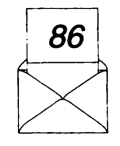
что хотел бы сказать, а фразы не склеиваются, все рассыпается, как только садишься за бумагу. Радует только, если это может радовать, что врачи связывают такое состояние не просто с полным обалдением, а с каким-то временным «кризом кровеносной системы», и усиленно пичкают меня «пчелиным молочком» и колют всякими витаминами, после чего, по их мнению, я неминуемо взыграю и заекаю селезенкой. Удивительно поганое состояние! Лень даже из комнаты в комнату пройти, целый день валяюсь в постели и читаю французские романы — Саган, Сименона — целый ворох прочел, и в голове вертятся одни многолюбивые бабы да неудачливые преступники, которых изловляет удачливый Мегрэ. Вот так скажи кому, чем занимается советский критик, — засмеют. А мне, ей-богу, не до смеха. И надо бы мне развязаться с Аксеновым, ох, как надо, чтобы на этом пока поставить точку — сложить книжонку из статей последних лет и не писать хотя бы год никаких критических статей. А как не писать — жить же надо ж, и так называемое положение обязывает. Вспоминается Михаил Голодный — удивительной был души, доброты и скромности человек, и немало в свое время посмеивались над тем, что в разговорной речи он иногда не в ладах был с русским языком и прорывались у него «одессизмы». Так вот, о нем шутили, что он про своего злейшего врага критика Елену Усиевич говорил: «Усиевич, е..на мать, пишет критических статей. Я бы тоже мог писать критических статей, но партия мне говорит — Голодный, пиши стихов, и я пишу стихов». А мне вот редакции гово-



рят — «Пиши критических статей». А мне все кажется, что я пишу не то, что надо, и в редакцию несешь с каким-то неясным отвращением — сам, мол, чего-то недодумал, да там еще советов понакидают, да к тому же все скорей да скорей... Ну да ладно, бог с ними, вот, даст бог, доживу до лета и поведу здоровую жизнь — пойду, выйду на быструю речку, сяду я да на крут бережок и замечтаю — вот-де бы написать бы о людях, которых знал когда-то, только ведь таланту нету. А ведь действительно, каждый из нас, наверное, носит в душе образы людей, которые составляли часть тебя самого, «без которых нет меня», и очень странно, что людей этих нет и никто о них, кроме тебя, может быть, и не помнит, и не знает. Что это были за удивительные люди. Не знаю, писал ли я Вам, что вот уже скоро год как сгорел у меня один друг, скорее, конечно, друг в прошлом, в парнях вместе гуляли, а потом дороги наши разошлись: я — литератор, он же один «из малых сих» — из деревни уехал, воевал, вернулся полуинвалидом, женился наконец на той, с которой лет десять еще перед войной шлялся, да отец ее замуж не выдавал; отец-то вдовел, детей куча и старшая в семье хозяйкой была. Да, женился, переехал в Москву, какой-то подвал, яму какую-то себе оборудовал и еще вот лет пятнадцать в этой яме прожил, пил, конечно, виделись редко, да и говорить-то не о чем было, только смотрел он на меня влюбленными глазами, а я тщетно искал в его одутловатом, посеревшем лице черты того озорного певуна и шутника, каким его помнил, и вдруг как-то звонок: «Дядя Саша, это гово-

рит Валя Буянова, у нас папа умер». — «Что? Как?» — «Сгорел на работе». Я чуть не фыркнул — как это Макашка, в общем-то лентяй с золотыми руками (все умел), мог сгореть на работе, как какой-нибудь партийный работник. Оказывается, таки сгорел. Дежурил ночью в какой-то сушилке, выпил, наверное, и сгорел вместе с сушилкой. И вот уж год не дает мне покоя, как говорили в старину, его тень. Все, кажется, вспоминается Михай с гармошкой, с драками «на канаве», где встречались враждующие деревни... Но кому нужна эта романтизация прошлой деревни. И другие помнятся, целая череда сильных, юных, и куда это все потом в человеке девается, ведь все же эти деревенские ребята были до чертиков талантливы, сами пели, сами играли на драных гармошках; конечно, транзисторы через плечо — это признак культуры, только, по-моему, оболванивают эти транзисторы почем зря. Словом, «век иной, иные птицы и у птиц иные песни, я любил бы их, быть может, если б мне иные уши». Вам еще везет, Вы все же где-то дома, у родового корня, а у меня и дома нет — места детства давно под водою, а там, где юность прошла, от коренного населения почти никого, так, какая-то смесь племен, наречий, состояний — те, что селятся поближе к Москве, но не в стокилометровой зоне. А в Тарусе, конечно, хорошо, но ведь там я дачник и природа-то все же не наша, не калязинская. Ну ладно, что-то меня в жар кинуло, надо, видимо, ложиться.

Статей моих оппонентов я не читал, так, глянул только. Это, наверное, очень я поступаю плохо. Но



мне не хочется влезать в эти споры ни о чем, что, вероятно, тоже свидетельствует о том, что критик я липовый — не интересуюсь тем, что, по мнению критической среды, есть главный смысл ее существования.

А в Кемерово мне хотелось бы поехать. И предлагали, и я вроде согласился. Да вот не знаю, как, выйдет ли?

Кланяйтесь супруге и семейству.

Ваш Александр

А. Макаров В. Астафьеву
17 апреля 1966 года

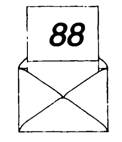
Дорогой Виктор Петрович!

Так обидно, так нелепо уезжать как раз накануне Вашего приезда. Так я надеялся повидаться и наговориться. По правде говоря, я как-то забыл о пленуме и неосмотрительно дал обещание таджикам (вернее, оно давно было дано и уж очень много раз я его давал, а в последний час отказывался, и на этот раз не хватило совести). И надо же было их съезду совпасть с пленумом, то есть с Вашим возможным приездом. А может быть, Вы задержитесь в Москве? Я вернусь если не 26-го, то 27-го обязательно. Хотя мало я на это надеюсь, на носу май, и Вы, наверное, будете спешить. Если бы не дом, не жена, не всякие сложности быта, так бы и утяпился за Вами вдогонку. А может, я все-таки как-то выпрошусь в конце мая — тут ведь беда и в том, что по возвращении что-то надо доделать по редакции

со злополучной статьей об Аксенове, что у жены свои планы и обязанности, словом, тысяча всяких преград.

По настрою «Синие сумерки» — рассказ отличный, растревожил он меня до слез. Почему-то очень стало жалко себя, впрочем, я даже знаю почему, но в письме этого не выразишь. Видимо, я безнадежный эгоист, вместо того чтобы сокрушаться о роде человеческом, сокрушаюсь и печалуюсь о себе, о том, что мог бы жить как люди, а стал литературным критиком. А Вы удивительно умеете сказать человеку о том, что им безвозвратно потеряно... Ну да ладно. Если я сяду на лирического конька — поездке конца не будет.

Давайте о рассказе. Не мне Вам говорить, что к нему могут предъявить всякое — противопоставление «естественного» человека современному, недопустимость безнаказанности покушения на инженера и т. п. Все это чепуха, и буде такие редакторские замечания прозвучат, обращать на них внимания не стоит. Рассказ существует как таковой с его неизбывной печалью, и тут уж ничего не поделаешь. Но есть в самом рассказе что-то, над чем стоит еще подумать. Вы пишете, что Вам почудилась в середине какая-то натяжка. Знаете, это действительно чувствуется. И думается, что она в том, что вы прямо связываете поведение Ночки с Ив. Ив. и историей с инженером. Я могу объяснить, как это, вольно или невольно, произошло. Вам важно сюжетно закрепить в рассказе историю с инженером, попробуй выкини и Ив. Ив., и эту историю, если на ней как бы держится сюжет — все взаимосвязано. Художест-



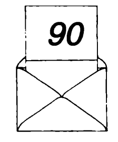
венно это не только не обязательно, но даже противопоказано, в этом чувствуется литературность, умысел. Умысел вполне объяснимый, но именно потому, что сразу приходит в голову объяснение, это и мешает. Прямая связь портит все дело. Начинает выпирать тенденциозность, нарочитость, глубокая и грустная философия рассказа начинает отдавать назидательностью временной.

Мне думается, нужна бы другая история, другой повод для трагедии собаки, и тогда все зазвучит сложнее, но и, думается, правдивее. Здесь же все нравоучительно обнажено. Не мне давать Вам советы, и не знаю, угадал ли я то, что Вас смущает, но это, именно это, внушило мне подозрение на литературность. И еще одно замечание — невыразимо хорош Гр. Еф. в обстановке его избушки, в жестах, в разговорах с собакой, но в интонации его разговора с Вами слышится опять-таки какая-то литературность. Вы даже о «Юности» его заставили говорить. Не уверен, что в этом рассказе это необходимо. А сейчас это вообще прозвучит конъюнктурно. Да и зачем Вам, такому русскому художнику, впутываться в быстротекущий поток преходящей литературы. И если вдуматься, то, ей-богу, наша «молодежная» литература не смех вызывает, а слезы — в ней отразилась духовная драма этого замороченного поколения. Но это уж Ваше дело решать. А вот на манеру разговора обратите внимание. Я даже не могу конкретно указать, что меня не устраивает в Гр. Еф. Несомненно, в речевой манере «простого» человека есть интонация сказовая.

«На войне кум у меня погиб, Хрустов по фамилии. На водокачке слесарил» — глаголы на конце, слова перевернуты местами, но, перекочевав в литературу еще двадцатых годов, интонация эта где-то до того залитературилась, что каждого, кто начинает так разговаривать, воспринимаешь не как живого героя, а как давно знакомый персонаж. Я не сомневаюсь, что у Ваших земляков тоже в речи сказывается эта интонация, но ведь есть же что-то и свое, пермяцкое, кроме этих «отродясь» и «бывалоча» и обязательных глаголов на конце. Кому же, как не Вам, уловить это. Все, что он рассказывает, написано Вами с какой-то языковой скупостью и утомительной монотонностью, и рядом с этим изумительно яркий, сочный авторский язык. Для себя-то (то есть для рассказчика) Вы на редкость щедры. Вспомните, как говорят герои у Горького. Он ведь им самое лучшее отдавал, самое самоцветное для них в своей памяти откапывал.

Извините меня ради бога — это не поучение, просто вспомнилось... И вот, мне кажется, что с речью Гр. Еф. не грех и повозиться бы. Надо, чтобы я его так же почувствовал, как пейзаж, как Ночку — где все одухотворено, все живет, дышит, от всего сжимается сердце. А Гр. Еф. я чувствую больше всего тогда, когда Вы говорите о нем. Так, например, в последнем абзаце, под которым и Тургенев подписался бы. Так дайте мне его в нем самом.

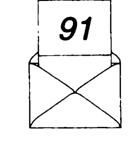
Больше мне сказать нечего. Все, что в рассказе от Вас, — превосходно, описаний, казалось бы, много, но ни слова не выкинешь, напротив, испытываешь то обязательное чувство — эх, еще бы подзадержать-



ся у этого пробивающегося из-под снега ручья, услышать робкий, просительный писк Ночки, и «зло» берет на автора, что он не вытащил ее из-под пихты в избу (ну что ему, автору, стоило), словом, испытываешь все то, что и должно испытывать. Помню, когда-то моя троюродная сестра, с которой я прожил бок о бок в отрочестве (потом она стала серьезным партийным работником), просто заходилась от злости на Диккенса, что он рано кончал свои романы, что вот-де, что бы ему стоило написать дальше, и как они жили потом, какие у них были дети, и в этой ее злости была величайшая похвала писателю, что я понял, конечно, позднее, а она, не знаю, поняла ли. Теперь она уже пенсионерка и читает только газеты. И вот если говорить о рассказе, как говорится, в целом, то он вызывает именно это хорошее чувство злости, ну зачем, ну разве нельзя было еще подзадержаться в избушке, посидеть у огонька, расположить к себе Ночку и т. д. Так вот хочется, чтобы, и когда Гр. Еф. рассказывает, было такое ощущение, чтобы я не только историю собаки от него узнавал, а подумал — ну говори же, говори.

Впрочем, я уже начинаю повторяться. В разговоре я все это выразил бы, может быть, короче, эмоциями, а в эпистолярном жанре получается как-то сухо, уныло, чуть ли не назидательно, и очень трудно передать свое отношение. Заболел я Вашим рассказом, вот и все. И, как всякий болельщик, кричу: «Еще гол!»

Ну так как же все-таки? Возможно, на этот раз так и не увидимся. Спасибо за книжку. О ней уже



вдругорядь, а пока только спасибо не в смысле за презент и экземпляр, а за то, что и как в ней написано. Если уедете, напишите обязательно о планах на дальнейшее, о Вашем летнем расписании. Кланяюсь Вашим домашним. Мои кланяются Вам.

Ваш Александр М.

18 апреля. За ночь так и эдак передумывал это письмо. Может, я ошибаюсь. И все же, думаю, нет. Есть какая-то нарочитость в том, что Ночка в роли мстителя Ив. Ив. Какой-то обнаженный ход. Может, поэтому и рассказ Гр. Еф. приобрел речевую потертость?

Ну, давайте руку. Вот так.

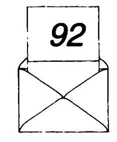
В. Астафьев А. Макарову
Апрель или май 1966 г. *

Дорогой Александр Николаевич!

Лишь из дому могу я написать Вам. В Москве наш брат, периферийщик, как сорвавшийся с цепи кобель — бегает задравши хвост, полупьяный и ошалевший от новостей, встреч и разговоров.

Страшно жалею, что мы не встретились, но Иван Падерин передал мне Ваше письмо с рассказом, и я его, сидючи на пленуме, прочел, потом в поезде, потом дома. Наверное, не во всем, но во многом Ваши замечания совпали с моими сомнениями и до-

* В письме есть противоречия по этому вопросу. См. упомянутые числа, видимо, апрель.



гадками, смутно меня донимавшими. Трудно дается мне этот рассказ! Но я его добью, собаку. Включу в рукопись в том виде, в каком он есть, а пока она рецензируется, ходит по людям (в «Совписе»), это, говорят, года занимает, я и добью рассказ. Мне только неловко, что Вам пришлось так много времени затратить и письмо мне писать величиной с критическую статью. Но я тут же и подумал (слаб и хитер человек, зело хитроумен!) — раз А. Н. так много написал, значит, рассказ его это заставил сделать, а раз так... и т. д., и т. п.

На пленуме, а также после него произошла маленькая стычка у меня и моего друга Коли Воронина со Стариковым, который, пользуясь благостной поддержкой президиума и всех, кто к президиуму поближе, пытался забивать голы в ворота «Нового мира». А так как в воротах никого не было и за воротами тоже, то он просто наслаждение имел лупить и лупить по пустым воротам, говоря, что «Октябрь» — это правильная линия, а «Новый мир»-де неправильная. Мы с Колей возразили ему к неудовольствию Соболева и прилегающих к нему подхалимов.

Кстати, я взял «Кражу» из «Нового мира» и передал в «Сибирские огни». Тут она, кажется, и найдет пристанище. Обещают 8-9-й номер*. Замечаний немного. В «Новом мире» с рукописью расставались тягостно, с большим сожалением (и не с одной моей. Все лучшее российские ребята тащат туда), но в

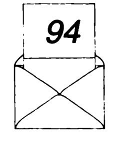
* Повесть «Кража» была напечатана в журнале «Сибирские огни» (1966. № 8, 9).

таком положении находится сейчас этот журнал, что ему держать до бесконечности рукописи невозможно, а печатать что им хочется — не дают.

С горя и еще для того, чтоб размочить мою тоску, мы зашли с «новомирцами» выпить граммов по сто, да так надрались, что уж и не помню я, как расставались. Много я услышал в тот вечер всяческих вещей, а особенно о Твардовском. Мое личное мнение, что это для наших времен великая и почти святая фигура, подтверждено было многими фактами. От этого и жить легче маленько. А та шушера, вроде Бровмана, как мусор на реке воспринимается после того, что рассказали мне об Александре Трифоновиче. И хорошо, что есть он. И пусть живет дольше. И если его даже уйдут из журнала, все равно жить будет легче, пока он есть.

А вообще после этой московской говорильни на пленуме и в кулуарах хочется пойти в леса и очиститься. Вот я и пойду. Послезавтра. Сделаю завтра сообщение о пленуме и отправлюсь. Если пароходы еще не ходят, пойду пешком (верст 15) и пробуду в деревне до 10 мая.

Буде возникнет у Вас охота прибыть на праздники ко мне, то еще раз сообщаю — лететь 2 часа 15 минут, ехать сутки. Дома будут сын и дочь. Они в любой момент проводят Вас в деревню, если не на пароходе (это очень удобно), то пешком — это не очень удобно, однако ж интересно. Но я уверен, что пароходы вот-вот пойдут, потому как лед давно киснет и течет здорово. В деревне будут моя жена и товарищи по охоте. Будет выпивка (немного), много



цветов, две собаки, два ружья, грибы соленые, маринованные и сухие, а если повезет, то будет дичь и рыбный пирог.

На Вашем месте я бы плюнул на все и давал Астафьеву телеграмму: «Приеду такого-то» и все.

Кстати, когда я сел в Домодедово 19-го мая, то вроде бы видел там Вашу Наталью Федоровну. Я побоялся ошибиться и не подошел. Ошибся я или нет?

На всякий случай поздравляю всех Вас с праздником весны и желаю бодрости духа и всего, чего сулит весна, кроме болезней, войны и нервотрепки.

Крепко вас обнимаю и еще раз благодарю за доброе, большое письмо.

Ваш Виктор

А. Макаров В. Астафьеву
25 мая 1966 г.

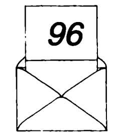
Дорогой Виктор Петрович!

Небось, Вы уже в своих пенатах, а я все еще торчу в Москве и предаюсь блуду — пишу внутренние рецензии, на лето нужны деньги, думаю заняться подготовкой книжки, а книжку нужно кормить. Статьи, конечно, деньги дают и, однако, не оправдывают себя, пока пишешь да проталкиваешь — глядь, истратил больше, чем получишь. Больше, конечно, потому, что уж очень много советчиков в редакции, к тому же, как говорил старик Державин, «один хотел арбузов, другой соленых огурцов». Вот и не доведу никак до печати своего Аксенова. Но баста, на этом ставлю точку, больше пока не буду заниматься старыми знакомыми. И есть у меня меч-

та написать о тех, кто «там во глубине России», о ком пишут мало и не рецензии, конечно, а статьи-портреты. Но и сам-то я мало знаю периферию, и ведь тут нужно, чтобы был человек перспективный, который бы в будущем дал еще больше. А то вот как хорошо начинал Сергей Никитин, а выписался довольно скоро. Может быть, Вы подскажете, кем бы стоило заинтересоваться. Вот прочел я книжку Сапожникова, по-моему, это очень интересно, но кроме этой книжки я о нем ничего и не знаю. Как Вы к нему относитесь, если читали? Что же все-таки будет с «Кражей» в издательстве «Молодая гвардия»? Мне очень нужно, чтобы где бы то ни было, хоть на Сахалине, да появилась эта книга. Может быть, Вам придут на память несколько имен, кого стоило бы прочитать от корки до корки, чтобы потом сделать выбор, наткнуться на то, от чего загорится душа. Да, вот еще были в «Новом мире» отличные рассказы курянина Носова, но пока кроме этих рассказов я ничего его не читал. Летом можно было бы потихоньку почитывать, летом какое же писание, все-таки грибы и рыба (вернее, ее отсутствие), летом только дорабатывать что-нибудь можно. Библиографию любого и книги я, конечно, могу получить в Союзе, но мне нужно знать, кого бы стоило читать. Я не только не успеваю за всем следить, я ни за чем следить не успеваю...

К моей критике Вашего рассказа Вы должны отнестись лишь так, как советовал Горький в письме Каверину: «Слушайте критику, обязательно слушайте. Но не слушайтесь».

Да вот и лето на дворе. И пролетит оно, не успе-



ешь оглянуться, а уж как его ждалось. Впрочем, с годами ощущение радости тускнеет, сидишь на реке, а думаешь, что скажет Сучков о том, что ты накундепал. На реке я все же изредка бывал. Есть такая веселая речка Озерна, километрах в 100 с лишним от Москвы, за Малеевкой, эдакое ожерелье из омутков, нанизанных почти что на ручеек. Не больно она рыбная, но уж больно хорошо там и безлюдно, только уже и там воздвигли плотину и будущей весной перекроют, и не будет веселой речки Озерны.

В Москве был пленум о поэзии, я посидел всего полдня, на остальные полтора дня меня не хватило. Об уровне можете судить по статье Наровчатова в «Правде», где он какие-то слабые стишки какого-то молодого гения выдает за гражданственность. И пишет о нем рядом с Берггольц и Смеляковым. А в стишках этих гражданственность покупная, заимствованная и бестрепетная. Вот так мы живем.

Обнимаю Вас, дорогой друг и кланяюсь Вашим домашним.

Ваш А. Макаров

Видимо, между этими двумя письмами было письмо В. Астафьева. К сожалению, оно не сохранилось.

А. Макаров В. Астафьеву
23 августа 1966 г.

Дорогой Виктор Петрович!

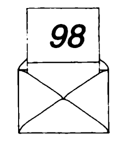
Человек предполагает, а издательство располагает. Я очень собирался к Вам в августе, но издатель-

ство требует, чтобы в начале сентября я сдал доработанную книгу*, с которой у меня приключился казус. Я свалил в нее кучу статей, из которых, как мне показалось, получается книга о трех поколениях, и назвал ее «Поколения и судьбы». Так она попала и в план. Статьи-то были, но уж очень разноликие — особенно в первом поколении: об Инбер — путная статья, о Шолохове — газетная, юбилейная, о Бедном вообще экстракт из моей же книжки, сделанный для «Знамени» осторожными руками Л. И. Скорино. Мне-то казалось очень остроумным такое сочетание — пролетариат — крестьянство — интеллигенция, а когда перечел статьи, вижу, об интеллигенции сносно, о крестьянстве один восторг, а о пролетариате великая сушь. И надо переписывать заново. А тут еще, как назло, погода волшебная, в голову ни одной мысли не лезет, до смерти хочется на реку. Честно высиживаю с 7 до часу, даже скорее отсиживаю, думая об одном, кабы скорее вторая половина дня и можно бежать за подустами. Клюют в это лето почему-то одни подусты. И очень хотелось бы вырваться к Вам, но вряд ли это удастся раньше второй половины сентября, а тогда, небось, поздно будет.

Я даже не ответил Вам на то письмо, где Вы писали о тех, что «во глубине России». Кое-что почитываю. Идеи я этой не бросил и очень прошу Вас, как только выйдут «Сиб. огни», пришлите мне. Здесь, в Тарусе, где я их раздобуду? Если нужно, я потом

---

* Речь идет о книге «Поколения и судьбы» (М., 1967).



верну эти номера. Я очень нуждаюсь в том, чтобы с Вами повидаться, очень.

Мои низко Вам кланяются и Вашей семье.

Ваш А. Макаров

Письмо А. Макарова от 9 сентября не сохранилось.

В. Астафьев А. Макарову
17 сентября 1966 г.

Александр Николаевич!

Письмо Ваше писано 9-го, я приехал в город 16-го, пишу 17-го утром и рассчитываю, что Вы мой ответ получите не позднее 20-21-го.

Какая у нас сейчас чудная погода! Ах, если бы она продержалась! Я завтра ускачу в деревню, но дома у меня сын, дочь, и 21-го на партсобрание приедет жена. Она будет ждать Вас.

К нам ходят самолеты (по-моему, 2 или 3), но я советую Вам ехать поездом — это ночь и половина дня в пути на пермском поезде, с Курского вокзала. Посмотрите осеннюю Россию, подышите ею маленько в пути.

Дайте телеграмму, поскольку жена не знает Вас, она или объявит по вокзальному радио, чтоб Вы зашли в радиорубку вокзала, или так просто будет Вас искать (я описал ей портреты), а Вы, как увидите в толпе самую маленькую белокурую женщину с носом, который на семерых рос, но одной достался, — значит это моя добрая и хлебосольная жена.

Очень Вас жду!

Хотел дать телеграмму, но что в ней скажешь?

Я как раз ворокосю новый, осенний рассказ и только поэтому сам не встречу Вас, но Вы ни о чем не беспокойтесь. Жена все сделает. От вокзала до нас идет улица Ленина, и ходу тут 15 минут (две трамвайные остановки). Остановка «Плеханова» и полквартала вперед. Дом с зелеными полосами и с вывеской «Воздушная кукуруза», а напротив нас большой обувной магазин, а за нами (через два дома, агентство «Аэрофлота»). Это на всякий случай наши координаты — ул. Ленина, дом 172, кв. 26 (второй подъезд, второй этаж). Вот и все. Жду! Обнимаю!

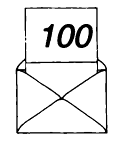
Ваш — Виктор

А. Макаров В. Астафьеву
29 сентября 1966 г.

Дорогой мой Виктор Петрович!

Писать-то еще мне в сущности нечего, просто что-то я забеспокоился о том, как Вы себя чувствуете. Стал что-то для памяти записывать и вдруг сообразил, что в последний день Вы явно как-то перемогали себя, таскаясь с нами по Перми. У меня тогда в башке мельтешило одно, что вот-вот скоро ехать, а ехать не хочется, и я как-то не обратил внимания на то, что хозяину неможется, а сейчас вот мысленно очутился у Вас и по-иному все увидел.

Мы еще никак не высвободимся от Ваших лесов и Быковки; харьюсов я явно не доловил, все вижу тот бочажок — почему-то все так зримо отпечаталось в памяти! И до отвращения не хочется входить



в московскую жизнь. Вчера целый день пролежал, перебирая все пути-тропинки, сегодня ходил на ВЛК и опять по тем же тропинкам. Словом, пока еще живу в двух мирах и призрачный пока торжествует над реальным. Валя Португалов Вам кланяется.

Моя Нат. Фед. уже погрузилась в московские заботы и пропадает где-то на радио, ужасно хочется есть, а брат на кухне варит макароны. А что такое макароны по сравнению с ухой из харьюзов и рябчиками, приготовленными Марией Семеновной. Вы, друзья мои, даже не представляете, что значило для меня гощенье у Вас. После этой поездки мне захотелось жить и подумалось, что жизнь еще не кончена. Обычно же осенью, когда приходится оседать на московской квартире, жить-то и не хочется. Вот так.

Прочел две повести Александра Михайлова Со Святославом очень здорово. Прямо-таки убедительно. Он мне сказал, что я узнаю, если прочту, кто автор «Слова». Я всего ожидал, но только не такой эмоциональной неопровержимости открытия.

Хорошо было бы, если бы в октябре Вы остановились у нас, а то ведь, если Вы поселитесь в гостинице, Вас и не затащишь, будет какой-то в лучшем случае «ответный визит». А мне не визит нужен, а Вы. Вот возьму и напишу Марии Семен., что за Вами в Москве нужен глаз да глаз...

Ждем Вас к себе [...]

...Несколько замечаний по «Где-то гремит война»*.

---

* Фрагмент печатаеся по книге «Зрячий посох».

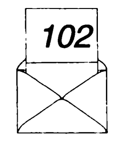
Как ножом по сердцу, что Шамов не погиб. А потом начинаешь думать: ведь еще только 41-й год. И Левонтьев Санька в Клину под Москвой. А Шамов уже додумался до похоронной, до того, чтобы бросить жену с детьми. Такое обычно делали лишь в конце войны, когда она к концу подходила, или при начальстве зажирались. При отступлении вряд ли загадывали прожить. Подумайте. Не слишком ли быстро он разложился? Может быть, сказать, ловкач, мол, одним из первых додумался. Может быть, действительно была ложная похоронная, а он воспользовался? Не знаю, но прояснить как-то надо. Иногда тому, что бывает в жизни, поверить трудно в повести.

Об Алешке Вы говорите много и часто. Но странно, что мать Августа ни разу не вспоминает о нем в разговоре, о Вашем-то друге детства, о своем сыне. Неужели она не вызвала его, когда такое горе, не побывал он у нее? Надо объяснить и еще мелочи: «Не возьмешь Чапая!» — не надо «вбитые в детстве лозунги». Это и так понятно. Назойливое это подчеркивание не нужно.

По-моему, надо оставить в сцене в шорницкой после горбунов и калек «и всякие эти вот, как их?» — то есть скопцы. Может, и не лег-то он к стене из брезгливости, хотя и не надо этого, конечно, подчеркивать. Кстати, там это не совсем понятно, думаешь, что лег, а он печку подтапливает.

Очень вял абзац с Феклой Юшковой, какие-то информационные слова.

На стр. 56 длинные абзацы про Алешку. «Оказался» глухонемым? Словно бы наследственное от пья-



ницы-отца. Но раньше же говорилось, что он иконостас на себя уронил. А то, что он учится в школе глухонемых, я уже знаю. И опять непонятно, почему Августа позвала не его, а героя, ведь Алешка же ловкий парень. И почему она не помнит о сыне нигде, о том, что хотя бы мясца ему послать?

О китайцах я оставил бы все, за исключением последнего абзаца о доброй памяти и что мы дураки.

В целом же очень здорово, очень, и заглавие — тютелька в тютельку, вот именно «Где-то». Умница Вы! Если будет возможность, выверите в верстке некоторые фразы на слух, попадаются кое-где беззвучные какие-то.

Ваш А. Макаров

В. Астафьев А. Макарову
8 октября 1966 г.

Дорогой Александр Николаевич!

Маня ездила в город и привезла мне Ваше письмо. Я очень рад, что у Вас остались приятные впечатления о поездке к нам. Ибо напуганные куражливостью Вороновых, побывавших до Вас, мы уже стали бояться не угодить чем-либо нашим гостям. Жаль, что побыли Вы очень мало. Как раз после вашего отъезда хариус начал скатываться и весь скопился на поворце подле нашей избы, и я за выход ловлю штук по 20-25 хороших рыбок, сидя на одном месте. Вот бы Вам тут душу отвести!

Погода было изломилась маленько, но сегодня

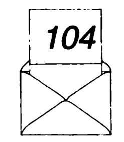
резко похолодало и опять стало солнечно, ясно.

Приехал к нам единственный оставшийся в живых мой дядя из родной деревни, и мы все разговариваем с ним. Он, сам того не зная, пополняет меня языком, восстанавливает воспоминания, и вообще хорошо, что он приехал, а то я уж начал забывать, что у меня есть родственники.

Вчера ходил с ним на охоту, принесли двух рябчиков. Варили чай в лесу, сидели у костра. Осень доцветает, в тайге грусть, и тянет к воспоминаниям о покойных, о бабушке и дедушке, замечательных тружениках и сердечных людях.

А Маня... Она у меня злосчастный человек! Поехала в город, что-то занесло ветром в глаз, и вот мукалась, мукалась. Две ночи не спала, и я отправил ее домой, к врачу. Она даже и Блока не смогла почитать, и так уж рада, так уж рада она Вашему вниманию, и подарку, и тому, что сумела угодить Вам. Она человек не избалованный вниманием, умеет ценить его, как не знаю кто.

Что касается меня, то Вы напрасно беспокоитесь. Просто в силу своей породы, да и прошлой жизни отчасти я очень сдержан в проявлении чувств к людям, и потому я не мог выразить словами, как я был рад Вашему приезду и как, истосковавшись по людям, с которыми можно не прятаться, наговорился с Вами и отвел, что называется, душу. Но до Вашего приезда меня страшно донимал геморрой и никак не могла выйти кровь. Стало от него, проклятого, прихватывать сердце. Ну а тут на радостях выпил, сделалось похуже, но, оказывается, напиться-то на-



до было! Вскоре после Вас набухший этот геморрой прорвало, дурная кровь вышла, и мне сделалось лучше. Сейчас я уже по тайге резвей хожу. Так что все хорошо. Мне только было очень грустно, когда Вы уезжали, а на моей морде все мои чуйства видно, вот Вы и обеспокоились.

Все хорошо. Еще раз повторяю, что я был очень и очень рад Вашему приезду, ведь одиночество это не лучший друг писателя, хотя порой и дорожишь им, и оно полезно работе, но... сладкого — не досыта, горького — не до слез! Так, кажется, говорится?

И еще. Ради бога не считайте себя обязанным писать что-либо обо мне, хотя Вы и «собрали» материал. Освободите себя хотя бы от этого груза. Я и так, не в пример многим периферийщикам, избалован вниманием прессы. Есть ребята, которые куда как лучше меня работают, а находятся втуне, вот о них (например, о Косте Воробьеве) и написать бы. (Прочитали Вы его книжку или нет?) А я читал роман Ивана Акулова «В вечном долгу», напечатанный в первых номерах «Урала». Опять колхозы, опять горе, голод, несправедливости и прочее. Язык хороший, роман добрый, но... Но лет бы на пятнадцать раньше ему появиться! А теперь это запоздалый роман, и тихо, тихо он погрузится на библиотечные полки, повздыхает там и успокоится в пыли времени.

Сам я еще ничего не делаю. Позволил себе осень погулять, а там уже и за работу.

На пленум, если он состоится, я непременно приеду, но остановлюсь в гостинице и все из-за то-

го же геморроя, который заставляет иной раз стесняться, и я поэтому всегда почти останавливаюсь в казенных местах. А с Вами мы навидаемся досыта.

Кланяйтесь Наталье Федоровне, Аннете и ее мужу.

Крепко вас обнимаю.

Ваш Виктор

А. Макаров В. Астафьеву
24 октября — 1 ноября 1966 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Очень хочется поболтать с Вами, но дал себе зарок не писать, пока не появится рецензия на «Кражу»*. И лишь сейчас сообразил, что ведь можно подождать отсылать письмо. О «Краже» я успел написать раньше, чем получил Ваше письмо, где Вы мне даете мудрый совет писать не о Вас, поскольку Вы избалованы, а о других, более достойных. И уже ничего нельзя было воротить. В «Литгазете» повесть прочел Б. Галанов (я ему дал № 9, у них его еще не было) и выразил свое полное удовлетворение. Но, как это всегда бывает, рецензия лежит набранной уже две недели, и все обещают. Написал я не так, как бы хотелось — газета есть газета, дают 5 страниц, но ничего, я еще наверстаю. Лишь перечиты-

* Статья А. Макарова о «Краже» была напечатана в «Литературной газете» 1 ноября 1966 г.

вая повесть, я понял, какой интересный разговор можно было бы развернуть, понял, и почему она не прошла в «Новом мире». Ой, не потому, о чем Вам говорил лукавый Ал-др Григ.* В «Знамени» же просто лентяи и дураки, вроде нашего милого Ив. Тим. Козлова. В этом меня убеждает и то, что кому ни дашь — всем нравится. И дочери моей Аннете, и ее мужу, и Евгении Федоровне Книпович, которая тоже написала маленькую рецензию для «Москвы» в подборку новогоднюю, что-то вроде «Интересная книга года». Не «Кража», а подборка. Встретил Л. Н. Фоменко, и та предложила немедленно написать что-нибудь для «Лит. России» и тут же сказала: «Хотите подскажу. В «Сиб. огнях» и т. д.» Я до того смешался, что даже не ответил сразу, что не могу, она поймала меня в двери, из которой я выходил, только что поправив гранки. Как говорится: «Ну, вот и все, а ты боялась». К сожалению, все пока только кулуарно и мне уж хочется скорей огласки — все под богом ходим.

Что же это Вы, молодой писатель, так неосторожно обращаетесь с дорогим нам Павкой Корчагиным и раздражаете тов. Трегуба? Он, можно сказать, всю свою жизнь посвятил тому, что Островским и Маяковским, как оглоблями, всех молодых по головам колотил, а Вы это оружие у него пытаетесь из рук выбить. «Нехорошо, ма-а-ладой ч-лавек». За это по мордасам можно получить. Вот и получили.

---

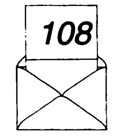
* Александр Григорьевич Дементьев — первый зам. главного редактора «Нового мира».

Кстати, не можете ли Вы, когда поедете в Москву, прихватить с собой эту Вашу предосудительную речь, напечатанную в молодежной газете?

Вот уже две недели «наверху» идет какой-то семинар, о нем Вы, наверное, читали в газетах, но что там говорится, пока тайна, донеслись только слухи, что «Новый мир» довольно крепко поругивают. Вчера, в воскресенье, была встреча деятелей искусства с участниками совещания, я оказался в числе немногих приглашенных и помчался даже не как приглашенный, а как оглашенный. Оказалось, что это не они, а мы должны были их увеселять. Первым выступил И. Андроников и рассказал сотни раз мною слышанный рассказ об Остужеве, потом Бор. Смирнов стал говорить, как он работает над образом Ленина, и тут я ушел, увидев, что к выступлению готовятся каких-то два баяниста, а Мих. Ив. Жаров подозрительно пощипывает галстук, словно горло прочищает.

Был в РСФСР семинар — встреча с молодыми членами Союза, поэтами, пришлось участвовать и не жалею, прочел две книжки томича Вас. Казанцева с большим удовольствием, вот уж не думал, что в наши дни может появиться поэт-импрессионист, ни на кого не похожий, разве чем-то на Фета. Вот и все мои подвиги. Потихоньку подчищаю книжку, сдам к первому обязательно, надоела она мне и хочется приняться за новое.

После поездки к Вам у меня как-то улучшилось настроение и даже несвойственная мне наглость появилась — ну, мол, вас всех на ..., буду писать что



хочу. Вот надолго ли? И уже сейчас оговорюсь, конечно, не что хочу, а о ком хочу — это все-таки осторожнее.

Наташа прочла Ваши «Окопы»* и вот уже два дня только о них и говорит. Восторги ее мне кажутся подозрительными, но Мария Семеновна может быть спокойна, я стою на страже ее интересов, а не Ваших. Жену же я убеждаю, что Вы коварны, как Ваши харьюзы, ныне подкатившиеся прямо к вашим хоромам, что пишете Вы хорошо исключительно для того, чтобы этим заманивать женщин в свои сети. И в самом деле, куда ни повернешься, всюду cherchez la femme — Книпович нравится, Фоменко тоже, Искра Денисова в восторге — ну просто первый парень на деревне...

Что же касается ваших недугов, то мой братец уверяет, что он Вас в три приема вылечил бы, что он, действительно, в свое время со мною и сделал обыкновенным вкатыванием пенициллина. Правда, у меня эта пакость только начиналась, но с полгода я мучился, он говорит, что у них в армии только так и лечили. А Вы не пробовали?

Воробьева еще не прочел, прочел пока лишь первую повесть — мне понравилось и думаю, он мне пригодится не для большой статьи, правда, он не совсем самостоятелен — в сценах первых его Матвей напоминает шолоховского Пантелея Мелехова, от пейзажа тоже веет Шолоховым. Впрочем, по одной повести судить рано, и я надеюсь дочитать

---

* Книга рассказов «Поросли окопы травой» (М., 1963).

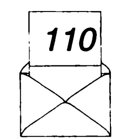
книжку до того, как смогу отправить это письмо.

30 октября. Вчера выпал снег и лежит сейчас. Стало светлым-светло. Вот у Вас, небось, здорово. Почему-то первый снег, как и первая капель, отдает грустинкой. Вот там, за окном, все переменилось, а ты все такой же и сидишь как пес на цепи, легонько поскуливая. Собрался на праздники в Тарусу, хотя бы в гостиницу, а тут ленинградцы требуют, чтобы 10-го был у них на симпозиуме или на круглом ли столе, где будут обсуждаться проблемы романа о рабочем классе. Отказался, так они в ЦК пожаловались. И вот 2-го опять будут звонить. Ну, ей-богу, не занимает меня эта тема вот ни столечко, и не верю я в такие романы ничуть, и своего дела по горло, а ведь поехать — неделя будет выбита, да еще после неделю будешь в норму входить. И никак не объяснишь нашим писателям, что и критик человек и у него могут быть свои интересы, только и слышишь — ну что Вам стоит написать, ну что Вам стоит выступить... Вот и поныл.

Был в четверг на редколлегии «Лит. газеты». Саша* сообщил о последней речи Демичева на семинаре, но как-то бегло и вразброд. Единственное, что я запомнил, что надо вести дело на консолидацию, а у нас есть журналы, которые ведут на расслоение. Что ж, в этом он прав — мы сейчас между двух огней — с одной стороны, «Новый мир» с его «ужасающим» либерализмом, с другой — «Октябрь» с его

---

* Александр Борисович Чаковский.



китаизмом (тем, о котором Белинский говорил). Впрочем, по поводу «новомирцев» тоже можно вспомнить того же Висс. Григ.: «Разум дан человеку для того, чтобы он разумно жил, а не для того только, чтобы он видел, что он неразумно живет». Вот во вторник в «Знамени» Вадим* как раз и собирается нас просветить, как разумно жить, докладывая все о том же семинаре. И просветится ум и сердце мое. То-то! Вам-то небось хорошо там по первой пороше бродить, «со вечера пороша выпадала хороша...» Ружьецо за плечи и в тайгу. А тут один зверь — телефон, аки скимен искай кого поглотити...

31 октября. Не везет нашим женам (а может, нам?). Вот Мария Семеновна болела, а теперь Наташу у меня хватил какой-то спазм, уложили в постель, ноет, что не может работать... Ныла, ныла а вчера тайком выбралась в какую-то школу на беседу, а вечером стало хуже, ночь целую провозился, и стало ясно: ни выходить никуда ей нельзя, ни в Тарусу на праздники не поедешь — лежать человеку надо. А тут еще мои «молодые» задумали 5-го свадьбу справлять, после того как восемь лет прожили. У них негде, значит, будет у нас, бог знает что...

Воробьева прочел, я, конечно, не совсем прав. Уже конец повести о ровеснике по-своему и крепко сделан. Хороши рассказы. Вообще этого человека, видимо, крепко коллективизация по сердцу переехала. Мешает некоторый провинциализм. Ну разве

---

* Вадим Михайлович Кожевников.

можно было портить такой жестокий рассказ, как «Синель», таким сентиментальным концом. Женщина все простила, это, конечно, тоже мысль, но она вторая и заслоняет первую о разоре судеб и получается ни то, ни другое. Но, конечно, писатель настоящий, без дураков.

1 ноября. Слава тебе, господи, — вот и можно отослать затянувшееся письмо... Поздравляем мы Вас и Марию Семеновну с наступающим праздником. Желаем здоровья — а все остальное само собою придет. Кланяемся дочери и Андрюше, а еще Мурашу и Спирьке.

Ждем вас в Москве — вчера получил гумагу, что он* якобы будет 22-го.

А. Макаров

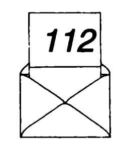
В. Астафьев А. Макарову
5 ноября 1966 г.

Дорогой Александр Николаевич!

Статью я Вашу прочел позавчера, а вчера пришло и Ваше письмо. В тот день, как прийти «Литературке» со статьей**, получил я рассказ от Семеновны, с машинки, и статья, и рассказ до того меня разволновали, что я искурил пачку сигарет, а потом пошел в город и даже наклюкался, что со мной бывает, в общем-то, довольно редко.

---

* Пленум Союза советских писателей.
** Имеется в виду рецензия А. Макарова «С чего начинается человек» (Лит. газета. 1966. 1 нояб.).



Чувствуется по статье, что Вы многое замыслили сказать, но размер Вас зануздал. Наверное, Вы очень помогли повести и мне этой статьей. Я ведь до сих пор за нее не брался, не могу пересилить своей неприязни к ней, а «Молодая гвардия» не напоминает о себе, должно быть, притаились и ждут «прессы». Народ там молодой, но тертый, и с ним теперь мне легче будет разговаривать об издании повести. Шли слухи насчет «Роман-газеты», но боюсь, что слухами это и кончится, ибо там зав. еще более тертый и в номенклатуре и в конъюнктуре разбирается крепенько. Словом, спасибо Вам! Постараюсь, как говорится, оправдать...

Рассказ* (это тот самый, который я не стал Вам читать в деревне) дошел, как мне кажется, до читабельных «кондиций», но работа над ним далеко еще не закончена. И за Ваше доброе отношение ко мне придется Вам расплачиваться трудом. Я прошу до пленума прочесть его и потом поговорить со мною. Пусть Вас не смущает такое громкое посвящение. Оно больше сделано от автора и для автора, ибо возник рассказ по причине Пирогова, в исполнении которого я слышал и полюбил романс «Ясным ли днем» еще в детстве, да так вот и запало на всю жизнь. При публикации рассказа (если дело дойдет до этого?!) я посвящение, вероятно, сниму, чтоб избавиться от возгласов: «Эко Астафьев-то выдрючивается!..»

---

* Видимо, речь идет о рассказе «Ясным ли днем». Впервые был напечатан в журнале «Новый мир» (1967. № 7).

113

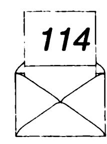
В деревне я так еще и не был. Лед лишь недавно стал, а я с Маней ездил в Чусовой и Лысьву. В Чусовом ходили на кладбище навещать нашу маленькую дочку и Маниных родителей. На кладбище, куда ни погляжу — все знакомые фамилии. Когда-то доктор Трофимов, тоже уже покоящийся на этом кладбище, любил сюда ходить выпивать. А выпивши говорил: «Вот почти все, кто здесь лежат, у меня лечились». А я Мане сказал, вспомнив о нем, о Трофимове: «Вот почти все, кто здесь лежат, были описаны мною в газете». Мало живет народишко в этом дымном, зловонном, черном рабочем городе.

11 ноября с Маней уезжаем в литературную Мекку, город Ирбит, на читательскую конференцию по «Краже», а пока Маня собирается принимать маленькую компанию гостей и наготовила разных вкусных вещей. Вот если б Вы поближе были!..

Но я надеюсь как-нибудь зимою залучить все же Вас к себе и свозить в заснеженную Быковку поглотать тишины морозной и насладиться истинным, так редкостным в наши времена, покоем. Коли пленум 22-го, значит, числа 20-21-го я прикачу. А пока еще раз поздравляю Вас с праздником. Земной поклон от всех нас Наталье Федоровне, Аннете, ее супругу!

Всего вам наилучшего.

Ваш Виктор



А. Макаров В. Астафьеву
Ноябрь 1966 г.

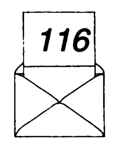
Дорогой Виктор Петрович!

Только вчера к вечеру дозвонился Малюгину. Неутешительный был разговор. Он, кажется, очень обижен, что Вы не встретились с ним, и звонок мой прямо как оскорбление принял. Я, говорит, звонил ему в «Москву», а его не оказалось. Мне надо было с ним поговорить, сейчас у нас много дел, вот разделаемся, и сам ему напишу. Нелюбезен и официально сух. «Знаете, у нас сейчас... вот мы тут обсуждаем...» и т. д., и т. п. И, по правде говоря, я почувствовал, что сейчас им Ваша повесть («Кража») — «не к масти козырь». И так подумал, что ведь в этом году они ее не дадут уже, а в будущем, в будущем, наверное, «Чапаева» будут перепечатывать. Или дадут от каждой республики по повести, или еще что-нибудь в этом роде. Сейчас ведь в одну линию уперлись, даже точку. «Повесть-то, — говорю, — ведь очень хороша». — «Угу, — мычит. — Это ваша статья была о ней в «ЛГ»?» — «Моя». И тут наступила пауза, значения которой я так и не мог понять. То ли она означала: понимаю теперь, почему ты звонишь, то ли еще что-нибудь... Оба молчим. Потом я уж просительно так: «Но, может быть, Вы сами ему напишете?» — «Да-да, — обрадовался он. — Напишу». И таким тоном, лишь бы развязаться. На этом и развязались. Невезучий я в этом отношении, как ввяжусь что-нибудь «пробивать», обязательно погорю. На душе муторно. Речь ведь не только о повести, но и о надвигающихся на нас юбилейных годах,

которые подавят празднословием. А тут еще вечером пришлось идти в Дом Дружбы на вечер Чаковского делать вступительное слово. И опять, как не пойдешь? Учились вместе, и зла он мне не делал. Обижать отказом вроде не за что, да и ссориться совсем уж ни к чему, все-таки живем по принципу: ты мне — я тебе, у него газета.

Ночью снилось, что пришел в Союз, а там «Новый мир» обсуждают. И мне очень хочется попасть на это обсуждение (во сне ведь всегда наоборот). А мне говорят, что обсуждать будут только секретари и мне не положено присутствовать... Дальше вообще началась какая-то чепуха. Встал утром, «на улице сырость и слякоть... И грустно, и хочется плакать, и некуда силы девать». Впрочем, так у Блока, а у меня только слякоть, и на улице, и вместо сил. Не хватает мне Вашей крепости характера, да и вообще Вас в нашем доме сейчас не хватает, только и слышишь: зачем рано уехал, да вот бы еще что-нибудь рассказал. Наташа Вас ругательски ругает за то, что Вы какие-то чепуховые рассказы Ваших друзей слушали, вместо того чтобы по редакциям бегать и с начальством заигрывать. До того все уши прожужжала, что напомнил ей мою старую эпиграмму (собственно под Курочкина):

Когда вырастешь, поймешь
Без особенных абстракций,
Всех порогов не оббьешь,
Особливо у редакций.



Очень она меня всегда утешала, но ведь это так о себе думалось, а вот когда о другом — обидно.

А с Люкиным у меня ни хрена не вышло с повышением тиража — бумаги нет*.

Ну хватит хныкать. Надо держать хвост пистолетом. А может быть, лучше «по ветру».

Кланяемся мы с Наташей Марии Семеновне. Вам шлют привет мои ребята и Толя, который уже мечтает, как он поедет хариусов ловить (он ведь мечтатель). На рыбалку мы, конечно, так и не выбрались!

Обнимаю Вас.

А. Макаров

А съезд-то уже перенесли на 21 мая. Но, надеюсь, Вы до этого будете в связи с «Молодой гвардией» в Москве и уж, конечно, у нас, а не в каких-нибудь гостиницах Переделкиных.

По «Ясным ли днем».

Стр. 10 — «вызывать из нее ригу». Так говорят? Я не слыхал. Все говорят — «ездить в ригу».

Стр. 18 — неподходящий абзац о казармах и муштре. Никогда не пройдет. Мог пройти разве лишь после манифеста 1905 года; между 1905 и 1912 годом. Ни в какие другие времена. И не надо дразнить редакторов, вызывая в них неприязнь к себе, ибо каждый редактор читает рукопись автора с потайной мыслью: «Этот человек пришел меня погубить».

---

* Александр Люкин — горьковский поэт. Впоследствии трагически погиб.

Стр. 24, строка 3 — «Вселял в них лучшие надежды» (я лишь как пример привожу эти слова). Нет-нет да и мелькнет где-нибудь вроде этих банальных вселяемых лучших надежд. При перепечатывании Вы сами заметите, где голос стукнет по пустоте.

Стр. 27 — насчет начала, что ожидает увидеть Серг. Митр., я все бы убрал. Вы все строите на контрасте — ждали, мол, оперного начала, а выскочил комсомолец. Но, во-первых, этих филиппик Вам никогда не пропустят, а во-вторых: без сравнения, как ни странно, получается страшнее, хотя и как бы безобиднее, просто «в машину запрыгнул» (один в Вашу пользу это «запрыгнул») молодой парень, а как вдумаешься, ой-ой, именно обыденность-то, а не контраст с воображаемым страшна.

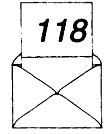
Так что, как видите, замечаний немного.

В. Астафьев А. Макарову
Ноябрь-декабрь 1966 г.

Дорогой Александр Николаевич!

Сегодня, возвернувшись из Сибири, где я умудрился простыть, ибо пижон есть и уехал в ботинках, да кабы фэзэошных, а то на траках и без бортов... Оне, эти ботинки, тем горше, что дома меня ждали новые вятские валенки, домашней катки, теплые и уютные до того, что я их вот цельный день с ног снять не решаюсь. Кабы в Сибирь их с собою! Каким бы молодцом я возвернулся к жене!..

Был в Дивногорске, в родной Овсянке. Наслу-



шался, насмотрелся, и если бы сейчас писать повесть «Где-то...», она была бы богаче. Но у литератора, как у старьевщика, все до поры до времени лежит, авось и пригодится.

Спешу Вас успокоить поелику возможно. Я, конечно, дурень-провинциал и оттого не мог подумать, что человек, работающий в обстановке делячества (кстати, очень порядочный человек), может нас с Вами тоже принять за деляг. Горько мне, если это так, и еще горше оттого, что Вас я принудил из-за себя волноваться. Поводов к этому у Вас и без того достаточно. Бог с ней, с «газетой», и с «романом». Я долго жил без них и как-то сумел не запятнать свое писательское имя, а главное быть честным перед собою, и это всегда мне очень помогало в работе. Разумеется, я был бы рад напечататься в «Роман-газете» и не только для того, чтобы «прогреметь» и получить хоть какую-то финансовую передышку. Но опять же, почему я должен рассчитывать на комфорт, если многие писатели, куда как самоотверженно работающие, постоянно терпят нужду и работают, работают. С них и брать пример надлежит, а не с Бабаевского, который миллионы накопил, а жрет пирожок за 5 копеек и следит за тем, чтобы крошка от этого пирога на штаны не упала.

Словом, так, если хоть краем уха услышу или хоть одно слово прочту в письме Малюгина (его еще нет) о том, что ставится под сомнение моя писательская порядочность, я его пошлю туда, где только дикие козы и гураны живут, вместе со своим хитромудрым начальником. Можете не сомневаться — выражения я найду, сейчас в Сибири я снова подзарядился ими!

119

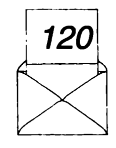
Я очень рад, что Вам понравилась моя повесть. Особенно за то, что вы меня поддержали с названием. В «Молодой» меня просили сменить название, но я уперся, однако ж сомнение в душу они мне все же заронили. Замечания Ваши я некоторые стихийно уже поправил, но иные и нет. Особенно важное замечание насчет Алешки. Забыл! Ну, что сделаешь — бывает! Видимо — это еще и от поспешности. Все же маловато я работал над повестью. Однако в гранках я кое-что добью.

Вперед наука! «Ясным ли днем» потому и держу на столе, чтоб все выверить и выписать не торопясь.

Вот поправлюсь маленько, просморкаюсь, одолею текучку и возьмусь за «Кражу», готовить для отдельного издания буду. Первые сто страниц уже Маня напечатала, но они полегче были, дальше пойдет труднее, да и в первой сотне возникла порядочная правка. Сказали мне, что в «Урале» (№ 2) и в «Нашем современнике» (№ 3) идут рецензии на «Кражу», с «философией» будто бы.

Вот на первый случай пока и все. Хотелось бы поболтать с Вами, как-то я уж и стосковался обо всех Вас, привязался, видно. И пусть Наталья Федоровна поверит — мне куда было приятней быть у Вас и разговоры разговаривать, нежели обивать пороги редакций.

Как она, бедная? Все волнуется за всех?! Захлестывают ее муки мира и дома! Неразрешимые, вечные муки! Их Кампанелла, здоровяк-мужик, разрешить не смог, а она со слабым-то сердцем и своей непосредственностью хочет облегчить страдания человечества!



Берегите сердце, Наталья Федоровна, голубушка, свое и мужево, ибо оно износимо, а страдания были и будут бесконечно. Нам их не одолеть, хотя мы и пытаемся это сделать, опять же пря на горячую чугунку обнаженным сердцем! (Ничего закатил афоризм, а?) То ли будет, если я еще раз съезжу в сибирскую тайгу!

Привет Толе, Аннете, Юре. Всем привет!

Целую всех крепко.

Ваш Виктор

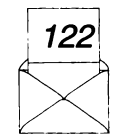
А. Макаров В. Астафьеву
20 декабря 1966 г.

Дорогой мой Виктор Петрович!

Совершенно очевидно, что между нами образовались какие-то симпатические нити — вот Вы простыли и я простыл. Ну Вы-то хоть по Сибири в ботиночках щеголяли, а я-то ведь в валяных туфлях дома сижу. После вашего отъезда я все еще раскачивался и никак не мог раскачаться, потом все же сел за статью, сначала не ладилось, а потом пошло, и в такое я настроение пришел, как вдруг хлоп — нытье в животе, пополам согнуло. Один врач говорит — следствие гриппа, другой — отравление, сам черт ничего не поймет. Наташе вставать нельзя, валяемся два чурбана, а тут еще внезапно редактор мой, она наконец-то отредактировала книжку, сделала в ней пятьдесят-шестьдесят стилистических пометок (надо сказать, что в этом отношении моя редакторша золото), но как бы незначительны они

ни были — править-то надо, а заодно, читая, еще сам целый ворох найдешь описок да недомолвок. И вот я, прячась, правлю, а дочь закладывает да подпечатывает, а врачи то и дело то ко мне, то к Наташе, а из редакции звонят — сдавайте скорее, план, и т. д., и т. п. Словом, полный трам-тарарам. Мне думается, и обострения-то у меня всякие начались от этой спешки да оттого, что оторвали от дела, как только оно вдруг оживилось. А теперь попробуй раскачиваться снова. Да у меня еще флюс был, щека раздулась, так что Ваша простуда против моих болезней слабак. Но вообще-то Вы, конечно, сумасшедший парень, чтобы сибиряк да в Сибири зимой в ботинках — это надо уметь форсить. И нисколько мне вас не жалко, а жалко Марию Семеновну — ох, нелегко, видно, быть женой Виктора Астафьева.

Книжку свою я все же дорубал, жаль только, что пришлось листа три снять — уж очень превысил запланированный объем, сегодня отправил и, надеюсь, дня через два опять засяду за статью, пишется разгонно, все это еще, правда, черновик, так мне хотелось кончить к январю, а теперь вижу, дай бог, к половине января дотяпаю. А уж что получится, бог весть, только «и ясным ли днем или ночью угрюмою...» И пока махнул рукой на всякие зловещие слухи, что поползли по Москве, будто бы и то нельзя, и этого нельзя, и про культ нельзя, и про сидели нельзя, и вообще про все нельзя. Встретил, когда еще ползал, в поликлинике Якименку, он говорит — ну, знаете ли, а что можно знать, если никто ничего не знает. Собирали нескольких критиков в



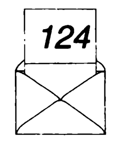
«Правде», а я, к сожалению, был не в состоянии пойти, была Евгения Федоровна*, но, к сожалению, она уехала в Переделкино и я остался без той информации, что, как известно, мать интуиции. Она, правда, мне звонила и сказала, что все было очень хорошо, только ведь Евгения Федоровна немного ретроградка и моих, как она говорит, «любимчиков» — Александра Трифоновича да Константина Михайловича терпеть не может. А с последним номером «Нового мира» были какие-то неприятности, то ли вынимали, то ли вырезали какие-то Костины дневники военных лет с нынешними комментариями. В чем там дело, ей-богу, не знаю. Только незадолго перед этим мне позвонили с телевидения и предложили выступить с Симоновым и задать ему несколько вопросов — эдакое интервью. Я согласился, только сказал, что пусть сам Симонов эти вопросы и придумает, он сам знает, на что ему хочется отвечать. А потом вдруг все замолкло. На вечере Тихонова, куда я имел честь быть приглашенным в президиум, я спросил Костю, буду я его допрашивать или нет, на что он мне загадочно ответил: «Я, Саша, отказался. То, что хотят, чтоб я сказал, я уже давно сказал, а то, что хочу сказать, не могу сказать», — со своей обычной барственной усмешкой. Стояли они вместе с Трифонычем в кулуарах, а когда президиум отправился торжественно на сцену, оба куда-то смылись, должно быть, кирять. Впрочем, я и не особен-

---

* Евгения Федоровна Книпович — литературный критик.

но доискиваюсь, что да как, пожалуй, только зря в панику впадешь, а так, глядишь, перемелется — мука будет. Да, говорил я с редактором Госполитизадата о том, почему бы им Вас не издать, но и у них новые правила, надо, чтобы было для них специально написано, вероятно, для Вас это не составило бы труда накатать такую брошюру листа на 3-4 о человеке и природе, что-то вроде расширенного предисловия к «Следу человека», разбавив всякого рода примерчиками. Только это уж если очень деньги требуются. Потому что чем больше я думаю над Вашими писаниями, тем больше прихожу к выводу, что не надо Вам тратить время попусту — пишите, что хочется и побольше пишите, может быть, даже поменьше ездите на всякие совещания, у Вас сейчас самая пора и не упускайте времени, в Ваши годы у меня лихо писалось, а вот как подкатило к 55 — сил-то и не хватает, с утра садишься, думаешь, горы сворочу. Ан страницы 3-4 накалякал и выдохся. А раньше до пол-листа, бывало, строчил за один присест.

Нет, я не думаю, что Малюгин заподозрил нас с Вами в какой-то непорядочности, он, конечно, возможно, был обижен тем, что Вы не зашли, поскольку он Вас разыскивал, скорее всего, его смятению причиной были те самые новые указания, о которых по телефону мне, ему не знакомому человеку, говорить было неловко, а я еще об этом не знал. Уж наверняка «Роман-газету» на будущий год нацелили на одни восторги, у Наташи тоже уж после редактирования сняли два рассказа как слишком мрачноватые, что у нее новый приступ вызвало. Но, кажется,



она у меня все же налаживается, может быть, даже мои животные боли послужили для этого стимулятором. Ваши дифирамбы ее сердцу ее так разжалобили, что она закапала, она у меня близкослизая. И, конечно, Вы единственный, кто ее понял.

Ну вот пока, кажется, и все. Кланяются Вам и Толя, и Аннета, и Юра, и Карай.

Обнимаю и целую Вас. Марии Семеновне низко кланяюсь, ее медведь, как Вы верно заметили, достойно украшает наш телевизор, только вот осыпаться начал бедный. Наташа, поскольку малость оклемалась, пишет ей чегой-то сама.

Привет Андрюше и дочке. И погладьте Мураша, ну что Вам стоит.

Ваш А. Макаров

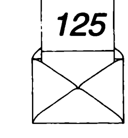
В. Астафьев А. Макарову
20 декабря 1966 г.

Дорогой Александр Николаевич!

С Новым годом вас, дорогие друзья!

Здоровья вам и всего самого наилучшего! Семейство мое кланяется вам и шлет свои самые лучшие пожелания!

Я трублю. Готовлю «Кражу» для отдельного издания в «Молодой». Как всегда, возникла правка и немалая. Из «Молодой» мне прислали очень любезное письмо. Они уже успели прочесть «Сиб. огни» и говорят, что, мол, это их почти устраивает. Расщедрились настолько, что прочли сами в журнале руко-



пись новой повести «Где-то...» и решили ее присоединить к «Краже», а я так обнаглел, что попросил их и «Стародуб» включить. Вставши впереди «Кражи», он бы многое осветил там своим светом, и гляделась бы «Кража» несколько «оптимистичней». Пока ответа не имею.

Получил я письмо от Малюгина. Мы — люди мнительные. Ничего он такого не пишет. Жалуется на серую литературу и на затурканность, жалуется на то, что печатают, чего не хочется печатать, и в связи с юбилеем опасается, что моя «Кража» минует их заведение.

Печатают они в основном чучмеков — это и беда, и выручка у нас! Что было бы без них? Пропали бы все, наверное! Я попрошу Вас, Александр Николаевич (эк записался-то!), выслать мне рукопись новой повести. У меня ничего не осталось, и раз ее включают в книжку, то еще раз пересмотреть надо и перепечатать затем.

Новостей пока нет никаких. Маня моя суетится — стирает, варит, печатает «Кражу» — в 13-й (!) раз. Жаль ее, но что поделаешь, жить-то надо!

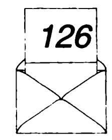
В феврале мы хотим провести отчетно-выборное собрание. У Вас нет желания заявиться к нам в качестве представителя? Если есть, черкните — мы сообщим в Союз, и Вас направят.

А как Наталья Федоровна? Пусть на ногах встречает Новый год, и тогда уж не свалится ни разу больше!

Привет и поздравления Толе, Аннете, Юре.

Я Вас обнимаю.

Ваш — Виктор



А. Макаров В. Астафьеву
После 25 декабря 1966 г.

Дорогие Виктор Петрович и Мария Семеновна — с Новым Вас годом и дай бог и Вам, и ребятам в новом году всего, в чем все мы нуждаемся: счастья, здоровья, творческих успехов и презренных ассигнаций тоже, ибо некий минимум таковых необходим, дабы были покой и здоровье и счастье. С годами в этом убеждаешься.

С «Где-то гремит...» Вы меня просто подрезаете. Ну кто же держит рукопись в одном экземпляре. Надо же, как Карамзин — одну иметь в поместье, другую в Петербурге, третью в Карлсбаде, а четвертую при себе. А тут на тебе! Я еще в статье кручусь где-то вокруг «Следа» и никак не выкручусь. Вообще я очень рад, что Вы по крайней мере узнаете, что критику не всегда легче, чем прозаику — ибо Вы имеете дело с людьми обыкновенными и примитивными, какими-нибудь дядями Левонтиями да фэзэошниками, а нам приходится разбираться в организмах тонких, сложных и капризных, каковые называют себя художниками, чувствилищами и т. п. Но нет худа без добра, сконспектировал Вашу повесть и еще раз пришел к выводу, что весьма недурна она. Да, надеюсь, что вычерки, которые там сделаны, вызваны, как вы говорили, только для печатания отрывками.

Передайте искреннее мое сочувствие Марии Семеновне, конечно, «Кража» не «Война и мир», но все же Софья Андреевна своего супруга творение лишь шесть раз переписывала, а тут 13.

127

Очень рад, что Малюгин Вам написал, я уже писал Вам в предыдущем письме, что Вы что-то не так поняли, и у меня не было впечатления, что он нас в чем-то подозревает.

На улице у нас потеплело, и окна у меня замело, совсем как в деревне, и хочется куда-нибудь в снега. А куда и как? Вчера еще одно бедствие свалилось — Карай порезал лапу в сугробе, порвал сухожилия, сегодня зашивали, говорят, через месяц, может быть, заживет. Только этого нам и не хватало. Теперь не только по комнатам, но и в передней больной с бинтами, совсем как в образцовой клинике.

Ну ладно, все пройдет, как говорил Соломон. Ну конечно, я приеду на собрание, если позовете, обязательно приеду, и будет у меня с Вами совсем как в пародии на Симонова:

Опять уеду и опять приеду
И уж тогда доеду вас совсем.

Обнимаю и целую.

Ваш А. Макаров

128

1967 год

В. Астафьев А. Макарову
5 января 1967 г.

Дорогой Александр Николаевич!

Что-то мне захотелось поразговаривать с Вами, вот потому и пишу.

Новый год у меня начался с «благословения», 3-го числа получил из «Современника» рассказ «Синие сумерки», вынутый из 1-го номера Главлитом. Вчера сидел и правил его, истребляя неугодные кому-то мысли. А кому? Мы ведь так и не знаем, по существу, кто это «тама» бдит и подвергает нас унизительному надзору.

Рассказ я, разумеется, не стал уродовать, а сделал кое-что и написал, если «их» не устроит — пусть возвратят.

Что-то вообще смутное происходит вокруг, замельтешился оживленно литературовед, приставленный к нам из надзорных органов, собирает какие-то списки, сведения; когда появилась статья Трегуба, он мигом примчался в нашу молодежную газету и начал шебаршить, выписывая цитаты из моей статьи да и на конференции по «Краже», про-

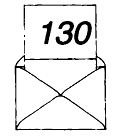
ходившей недавно в центральной библиотеке, его «участие» чувствовалось...

А уж тот, кто был нашим полномочным представителем на идеологическом совещании в Москве, ведет себя так, как вели себя таковые представители в худшие времена, с нами не встречается, ничего не сообщает нам, зато на всевозможных совещаниях, где публика особенно обывательски настроена, пушит и обливает грязью литературу, литераторов и искусство наше так, как будто уверен, что скоро нас побьют каменьями. Видно, одну старую истину он все же помнит, что «голодный и недовольный народ никому не нужен. Накорми его — и он сам каменьями побьет своих пророков».

Беда его в том, что он вкладывает каменья в руки еще недостаточно накормленного народа, а тормоз в том, что темные силы, вооружившись каменьями, бьют не разбираясь — и пророков и недоумков, и правых и виноватых, пример тому под боком — в Китае.

Получил я гранки из «Молодой» — это «Где-то гремит...», и правка, сделанная в ней, меня тоже удивила, уж явно перестраховочная, уж такая прямо, что руками развести впору. (А повестушка-то грустная, но безобидная, безобидная.)

А ее ведь цензура еще не смотрела. Может, и эту завернет? Не удивлюсь. Пользуясь юбилейным настроем, кажется, хотят на нас затянуть намордник по всем ремешкам. Но, в общем-то, я плюю на это! Настроение, конечно, портят, да с пути избранного не собьют. Чему-чему, а настойчивости и упрямству нас научили и таковыми своими мерами сие только



укрепляют в нас. Правда, есть одно опасение, которое высказал в письме ко мне трагически живущий Костя Воробьев, — кабы усталость и раздражение не переросли в озлобление. Русской литературой всегда двигала любовь. Ибо, как сказано одним мыслителем, «жизнь человеческая слишком коротка, чтобы расходовать ее на злобу и ненависть». Не дай бог нашей литературе утерять ее самое главное достоинство.

Я все это время работал над «Кражей», а затем над «Где-то...» Повестушка отлежалась, и мне удалось ее почистить, кое в чем улучшить, кое-что прописать и дописать, чем я и доволен.

Сейчас Маня хлопает ее на машинке, а я тружусь над рассказом «Ясным ли днем». И тоже получше получается. Почище, поточнее. Ввожу я одну для меня очень важную мысль в рассказ, о том, что Сергей Митрофанович как человек бездетный, для которого все дети — его дети, чувствует вину перед ними за то, что они снова идут служить, хотя он верил, что та война, которую он отвоевал, — была последней и его муки и увечья были последними. А еще за то, что поют они «ча-ча-ча», и еще за то, что речка грязная, леса порублены, и за неустроенность, за смуту, оставленную в ребячеких душах. Все ведь это не с неба к ним свалилось, во всем, что есть плохого, и наша вина, наша беда — это ведь только «святые», «непорочные» старперы ругают молодняк так, как будто к нам их с Марса в коробке свалили. А они ведь наши, наши!..

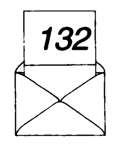
Правда, чем дольше идет работа над рассказом, тем меньше у него шансов увидеть свет, особенно в

юбилейном году, но это уж дело шешнадцатое.

Устал я очень. Надо бы в деревню податься отдохнуть, да стоят морозы и уже давно стоят, прочно, и снега нет почти, тротуары голые и многие людишки рушатся на ходу, особливо пьяные. Прочитал я письмо Натальи Федоровны, адресованное Мане. По письму чувствуется, что выздоравливает, и рад за нее. Но чудачка, чудачка! И если бы не такие чудаки да чудачки, так игде бы мы были сейчас?! Наверное, уж снова на карачках по лесам бегали, кушали еловые шишки, и у нас обратно вырос бы хвост и мы бы играли им, заместо всякого искусства был бы нам хвост.

Читаю Вашу книгу*. Какое-то очень противоречивое у меня чувство от статьи о Веселом, Бабеле и Васильеве. Пока читаю — убеждаете. Как отойду в сторонку, подумаю, что-то не так. Или я чего недопойму, или же Вы чего-то подпутываете. Существует же еще какое-то читательское, объективное отношение к литературе и искусству прошлых времен. Разумеется, сейчас, с нынешней колокольни и с нынешней читательской культурой тот же аббат Прево просто наивен и смешон, как смешно и наивно первое кино. Сейчас вон даже ребята мои считают скушным Клапку Джерома и, кстати, не смеются над «Золотым теленком», а скучают, читая его. Конечно, сейчас Артем Веселый — да и один ли он! — очень уязвимы. Вон я «Странников» перечитывал у

* Речь, видимо, идет о книге «Серьезная жизнь» (М., 1962).



любимого Шишкова. Просто и читать-то вроде бы неловко, но они же существуют, и читаешь их, как Шишкова, Веселого и т. д. Кстати, насчет «Чапаева». Почему-то мне думается — не будь фильма — эту книжку давно бы все забыли. Единственный, наверное, факт в литературе, когда кино не убило первоисточника.

Словом, написал вот и чувствую, что ничего Вам не объяснил, ибо и сам никак не могу разобраться, в чем тут дело. Наверное, сейчас Вы бы не стали писать такую статью или написали бы это по-другому. Мною скорей всего владеет старое российское правило: «Живых ненавидим и мертвых оплакиваем». Нам всегда мертвых да еще убитых очень жалко, и нутро протестует даже против, может быть, и честного высказывания о них, которые «не по шерсти».

Скоро я отправлю рукописи повестей в «Молодую», и если там все пойдет ладом, они через месячишко-полтора вызовут меня на редактуру и тогда потолкуем, а возможно, собрание будет у нас до этого и Вы сможете приехать.

Числа 20 января наш секретарь полетит в Москву, позвонит Вам, и Вы с ним договоритесь, как, когда и что.

Нашел я тут сборник статей «Навстречу будущему» (а не «Навстречу жизни», как я Вам говорил), прочел статью о себе. Напутала там Бушманова со мною, беда сколько, и ранений лишних приписала, и место ранения переврала. Это я к тому, чтоб Вы не брали во внимание мои биографические данные из ее статьи. В глазах женщин я всегда почему-то выгляжу лучше, чем есть на самом деле! Это, конеч-

но, хорошо до какой-то степени, и будь я помоложе, не преминул бы воспользоваться своим преимуществом, да старьем себя чувствую и рассказики опять же сочинять надо...

Ну всего Вам хорошего. Не хворайте. Поцелуйте Наталью Федоровну, свою добрую и вечную чудачку, а детям Вашим привет, Караю пожмите лапу и пусть он больше не лезет в московские сугробы, там можно напороться не только на стекло...

Толе низкий поклон. «Крепче за баранку держись, шофер!» и т. д.

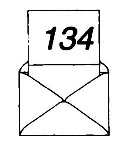
От Мани почтенье всем.

Ваш Виктор

А. Макаров В. Астафьеву
9 января 1967 г.

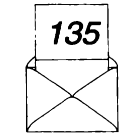
Дорогой Виктор Петрович!

Очень мне Вас не хватает, хорошо, что хоть письма приходят. Сначала о себе: последний месяц я что-то расхворался — то ли после гриппа, то ли сам по себе разнылся живот и ноет, как проклятый, лишая всякой возможности серьезно работать. Больше всего меня огорчало, что статья о Вас застопорилась, двадцать восемь страниц, включая «Стародуб», написались слету и на взлете, а потом пошла тягомотина еще страниц на 20. Почему — во-первых, живот болел, во-вторых, чувствую, что начинаю применяться к носящимся в воздухе веяниям, пытаясь объяснить Вас так, чтобы и овцы были целы и волки сыты. Зачем? Сам не знаю — внутренний ре-



дактор и воспитание. И понимаю, что с этого места надо начинать сначала, а тут хворь усилилась. Родной мой, что же я буду делать без «Сумерек» и «Ясного дня», а особенно без «Где-то...», не дай бог, ведь у меня вся концепция рушится, особенно без повести. Так, мне кажется, все лихо задумано, а Вы тут со своими поправками, и бог знает в каком виде появится «Где-то...», а к «Ясному дню» Вы, кажется, прилагаете все усилия, чтобы он не появился. Вам-то что, Вы на потомство можете рассчитывать, а что делать бедному критику. Ну да все равно, как оклемаюсь, все равно статью добью так или хотя бы приблизительно так, как хотелось бы.

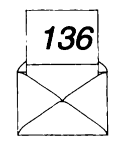
Теперь об обстановке. Она для меня не совсем ясна, кулуарных разговоров лучше не слушать. С одной стороны, так, с другой, эдак. Вот вчера появилась в «Правде» моя рецензия о Светлове. Пока писал, «внутренний редактор» подсказывал: не цитируй строк «расходясь после общих собраний на особое горе взглянуть», не напирай на то, что Светлов не навязчиво говорил с молодежью, не навязывал ей сковывающих норм — все равно вычеркнут. Развертываю вчера газету — все осталось, ни словечка не изменили и в редакцию меня не вызывали для чтения гранок и дали ровно через день, как отослал. Вот тут и пойми! Выходит, что сидящий в нас «внутренний редактор» куда пугливей. Беда же в том, что он особенно силен в так называемых средних звеньях, которые и не пишут, и не руководят, а исполняют указания, трепеща за свой стул. Заставь дурака богу молиться, он лоб прошибет. А уж что ка-



сается дураков, так еще Некрасов скорбел:

И побольше нас были витии,
Да не сделали пользы пером,
Дураков не убавим в России,
А на умных тоску наведем.

Ведь на том же совещании, как слышал я в официальной передаче, говорилось: не умаляйте трудностей, не скрывайте, только пишите так, чтобы было за советскую власть, чтобы показывать ее силу, преимущество нашего строя. Но пока это докатится до низу, остается лишь хвостик. Но в общем-то, положение серьезное, боюсь, что даже очень: Китай-то пока языками бряцает, но явно добивается первой цели — единства страхом внутри. Вот тут и подумаешь, действительно ли своевременны рассказы моего однофамильца Макарова, зовут его, однако, Артуром. И по воспитанию, и по среде человек он городской, интеллигентный. В «Новом мире» освободили Дементьева и Закса, но пока, кажется, не подобрали замену, хозяин не соглашается с кандидатурами. Последние номера — 10 и 11 — жалки, прозы нет. Каверин написал подлые воспоминания, я же все-таки был на съезде, помню, что основной бой шел вовсе не о манере писать, а вокруг доклада Бухарина за гражданскую поэзию, что доклад Горького многим показался слишком выспренним и оторванным от реальности, что речь Жданова в кулуарах обсуждалась горячо и доброжелательно. Что же касается выступлений читателей, перед коими расшаркивается Каверин, то они были на редкость примитивны. Главное же, что съезд был боевым,

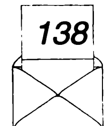


бурным и не литературным, а литературно-политическим. А вот прочтет воспоминания Вен. Ал. какой-нибудь вьюнош, которому к стенограммам съезда доступа нет, и составит о нем совершенно превратное представление. Может быть, Каверин и не виноват в том, что не упомянул бухаринского доклада (хотя у меня в книге о Бедном спокойно пропустили и упоминание, и смысл), недавно в газетах почему-то старую фальшивку, известную как «Письмо Зиновьева», почему-то стыдливо назвали «Письмом Коминтерна». Но уж в чем он виноват, так в том, что весь съезд скособочил в сторону любезных только ему писателей. А мы еще кричим о группировке «Октября». Вот и повод — перекосить в другую сторону. Кстати, о моем «Разговоре по поводу». Писал я его с одной-единственной целью предупредить разгром этих книг, который не только готовился, но и был предписан. Писал торопясь, понимая, как важно успеть, пока не стукнули. Уже потом появилась разгромная статья Архипова, но она уже не возымела действия, только все — и други, и даже противники моей статьи ставили меня в пример. Статья, конечно, не о писателях, а об авторах предисловий, но писателями поневоле пришлось оперировать, и они не могли не пострадать. Предисловия же меня попросту возмутили. В самом деле, почему Лескову мы ставим каждое лыко в строку, Достоевскому тоже, о живых и говорить нечего — со сладострастием выискиваем описки, а тут молебен, литургия, осанна... И от кого. От брюзгливо-брезгливого Ильи Григорьевича, писавшего политические романы, угождав-

шие вкусу, и вдруг выступившего в роли защитника «чистого искусства». От Чарного, в свое время выступавшего против IV книги «Тихого Дона» и порицавшего Шолохова, что он не привел Григория в стан борцов за советскую власть. От лукавого Зелинского, вдруг изобразившего Павла Васильева то ли эдаким милым рубахой-парнем, то ли отроком Варфоломеем — а он, насколько я знал Васильева, был уж совсем не золотой и ужасно раздражал и своим внешним видом a la russe, и кокетничаньем под Есенина.

Разумеется, личное в статье сказалось, может быть, я не прав, но всегда меня возмущала односторонность и неискренность. А авторы предисловий явно играли на конъюнктуре не политической а на общественном настроении. Помню, Ольга Берггольц спьяну сказала мне: «Зачем вы это написали, и уж если написали, почему же не тронули и Корнилова». Я не стал объяснять ей зачем и почему, а не тронул я Корнилова именно потому, что предисловие к нему писала Ольга Берггольц и не было в нем никакой игры, оно было выстрадано. Но все же, конечно, «Разговор» — временная статья, и я не включал бы ее в этот сборник, если б издательство не считало, что сборник избранного не может обойтись без этого шедевра.

Видел первую серию «Войны и мира», неплохи только военные сцены. Все остальное — движущиеся иллюстрации, сделанные художником, не понявшим Толстого, ищущего типы не в романе, а в актерском материале, что оказался под рукой. Князь Андрей — маленького роста, Долохов — тоже. Разве



это уж так случайно у Толстого? Маленькие люди себялюбивы, даже если умны. Князь Андрей мечтает возвыситься подвигом, Долохов — выделиться бретерством, он же унижен и бедностью своей, и тем, что живет на счет Анатоля. А мне показывают жеребцовские ляжки Тихонова и дылду Ефремова. Наташу в детском платьице и с мускулистой спиной, какие бывают только у балерин. Да ведь и нет Наташи, потому что нет ни того, как она поет с Николаем, ни предложения Денисова, нет всего того, что подготовляет сцену в окне, нет и этой сцены, потому что вместо сияющих глаз Наташи мне показывают какой-то сад, залитый малоправдоподобным светом. А дом Ростовых? Это же Юсуповский дворец. Но раскройте, ради бога, второй том, приезд Николая — у дома отбит карниз, в сенях, не в вестибюле, а в сенях покривившиеся ступени, нечистая дверная ручка, горит сальная свеча. И т. д,. и т. п. И это страшное желание как бы охватить все звучащие с экрана цитаты, в то время как Тихонов поводит ноздрями и напускает умность. Ни один актер кроме Кторова (Болконский) и Тушина (не знаю кто)* не естественен, все скованы, старательно держатся аристократами. Ну да бог с ними, жалко только денег да усилий и стараний.

В пятницу Аксенов читал в Союзе повесть «Стальная птица» (отрывок был в «Литгазете»). Я пошел и не без удовольствия слушал. На обсуждение не остался. Не могу сказать, что в отрывочном

---

* Комментарий В. Астафьева: «Трофимов В. А.».

чтении я понял замысел, но все же он чертовски любопытен, этот автор, ну при случае расскажу. Повесть уже три года как написана, никто ее не берет, а теперь и подавно.

Ну хватит. А то Вы скажете — больной, больной, а вон как расстрочился. Так это потому, что это не статья, а письмо, и не к кому-нибудь, а к Вам.

Низкий мой поклон Марии Семеновне. Привет Ирине и Андрюше.

Аннета, Юра, Толя шлют Вам привет. Ну а Нат. Федор. уж само собой, разумеется, — только бросьте Вы эти штучки завлекать ее своими льстивыми комплиментами ее характеру.

Обнимаю Вас.

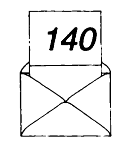
Ваш А. Макаров

В. Астафьев А. Макарову
13 января 1967 г.

Дорогой Александр Николаевич!

Недавно я писал Вам очень большое послание, где выразил свое неудовольствие статьей «Разговор по поводу», неудовольствие это укрепилось еще больше, когда я прочитал о Павле Васильеве, где-то тут Вы сделали не похожую на Вас вещь, т. е. поддержали официальную точку зрения на литературу и литераторов подобного рода. Я еще буду с Вами спорить о Васильеве, но сейчас мне это делать не хочется и вот почему.

После Васильева перешел я к Чехову, и каким добрым, Вашим добрым ветром дохнуло на меня.



Честно скажу, я давно не читал с таким наслаждением ничего, особенно в критике. Очень это хорошая статья, наверное, лучшая из Ваших. Случилось со мною главное, мне захотелось перечитать всего Чехова и полюбить его так же, как любите Вы. И как только у меня появится время для сосредоточенного внимательного чтения, я возьмусь за Чехова, к которому всегда относился прохладно, как раз по причине той, которую Вы обозначили совершенно точно, т. е. потому, что «проходил» в школе.

Много всего происходило в душе, когда читал я статью Вашу, но все время устойчиво было одно стыдное ощущение: какой я дикий и неграмотный человек, хотя и работаю после таких вот писателей, как Чехов. И много таких нас — диких, малокультурных, мало знающих и еще меньше понимающих... И все идет к тому, чтобы мы таковыми и оставались. Думающих людей у нас не любят и не хотят их, ибо лучший тот, кто поворачивается беспрекословно направо, налево и смотрит в рот всякому олуху, приставленному руководить и управлять...

Ну ладно-ть, кину мою старую песню. Повести я закончил и отослал в «Молодую». Днями рвану все-таки в Быковку, отдохнуть надо. Рассказ «Ясным ли днем» тоже закончил, отошлю в «Новый мир», хотя его и затуркали и вроде бы уж в год по номеру готовы выпускать. В скорости, надеюсь, вызовут меня в Москву редактироваться, и там потолкуем о Чехове и обо всем на свете.

Нашелся командир дивизии, в которой я воевал. Живет в Москве, затребывает к себе (приглашает!)

побеседовать о нас и просмотреть те материалы, которые у него собрались о пути и действиях нашей дивизии.

Любопытно будет. Я этого генерала видел всего два раза издаля и оба раза со страху чуть в штаны не напустил, а тут запросто приду и скажу: «Здорово, Сергей Сергеевич! Как живешь? Каку пенсию получаешь? И вообще, веруешь ли в бога?..» Ничего, да?!

Маня бренчит на машинке и шлет Вам поклоны. Приехал наш старшой из Уссурийска, привез рога от козули, ухряпанной собственноручно, и себя привез, и больше ничего. Гуляли они тут вчерась, твист, собаки, танцевали, и я не знал, креститься мне или материться, а в общем сидел, посматривал, похихикивал и терпел, а ночью тонул где-то в черной воде и утром к Марье с прэтеэнзией обратился: «Ты что же, говорю, старая стерва, не спасала меня? Я всю ночь тонул и звал тебя». А она говорит: «Как бы я тебя спасала, коли ты на меня сложил ноги и руки, и мне даже шевельнуться невозможно было!»

Так и живем, с юмором все больше.

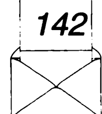
А Вы как? Здоровы ли? Наталья-то Федоровна как? Толе привет, Аннете, Юре. А Вас обоих обнимаю крепко.

Ваш Виктор

В. Астафьев А. Макарову
20-23 января 1967 г.

Дорогой Александр Николаевич!

Вот мы и в Быковке! Выбрались наконец. При-



шли вчера. В избушке все стыло, немило и черно. Но как только затопили печку, как только она затрещала дровами, сразу и веселей сделалось. Картошка замерзла, грибы замерзли, и все замерзло. Спирька, услышав нас, орал на всю округу. Я пошел по воду, отвязал его и увидел собаку, совершенно лишившуюся рассудка и в таком восторге, что мне пришлось от него спасаться бегством.

Вечер наступил быстро, синий, тихий и мглистый. Сварили. Поели. Я пал на раскладушку и ничего мне не хотелось — ни читать, ни думать. Так и лежал весь вечер, не читая и не думая. Хорошо!

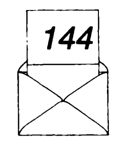
Ночью топили железную печку, так как стены промерзли, а русскую топить сразу нельзя — будет угарно.

Проспали долго. Встали маленько угоревшие. Поели. Я взял лыжи, ружье и отправился в лес. Хватило меня с непривычки только на 3,5 часа, но и за это время я успел надышаться, надивоваться и успокоиться от городских тревог и передряг.

Лес тут благодатен еще и тем, что он вовсе не исхожен. Прошел кругом километров восемь и попалась всего одна старая лыжня. А заячьего, лосиного, лисьего и птичьего следа — много. Выгнал из лунок двух косачей, пальнул, но так, чтобы не попасть, да если бы и хотел, так не попал бы, наверное, ибо вспорхнули они из-под самых лыж, забились, заклохтали. Я их пугнул. Улетели. И ладно. Выводки весной будут. Но Спирька мой горько страдал от того, что мы с ним мазанули. Начал плавать по снегу, завывать и лаять в свежие лунки. Выстрадал не-

сколько рябчиков, но сам же их и прогнал дальше в лес. Спустились мы с ним в речку. Видели там снегирей, щеглов, дятла и стайку дроздов. Речка нынче кипит страшно. С осени не было снегу, и морозы стояли большие, образовались ледяные пробки, и вода пошла верхом, по льду. Кусты затоплены желтой наледью. Местами речка вышла из берегов, залила низины. Лед местами наслоился до двух метров. Я испугался за хариусов. В таких случаях он погибает массами. А у нас его в массах-то и нет давно. Еще с осени отгадывал загадку — почему хариусы собрались в двух местах: у нашей бани и чуть повыше? Случилось это первый раз за все время, как я тут живу.

Сегодня нарочно пошел возле речки и вот разгадка — только на этих местах и нет наледи. Хариусы выбрали ямки, выше которых находятся перекаты длиной в полкилометра, и ниже короткий, но глубокий и мощный перекат. Какая бы наледь ни была, все одно она длинный и бурный перекат не закроет, все одно где-то проест лед и пойдет нормально подо льдом, ибо на перекате за счет движения воды и температуры ее лед не может быть толстым. Ежели же верхний перекат все же закроет наледью и вода начнет покрывать яму, где стоит рыба, и доступ кислорода прекратится, у нее есть место для отступления — нижний мощный перекат, где можно отстояться. Жить там худо, конечно, придется расходовать много сил, чтобы устоять на быстрине (зимою рыба, и хариус особенно, выбирает места потише, поспокойнее, а хариус и таймень даже набирают балласт (гальку) в брюхо, чтобы тяжесть



помогала стоять в затишке и не требовалось лишних сил удерживать себя на плаву), так вот, самые сильные рыбы, даже застигнутые бедствием, согнанные с места зимовки, все равно выживут, а мелочь и слабаки — сгинут. Все, как у людей — только по-честному, и в дни бедствий они не рвут друг дружку и не выцарапывают глаза слабому.

Вот так я открыл сегодня, почему хариусы выбирали себе именно эти места для зимовки.

И еще раз подивился мудрости природы, и еще раз возмутился тому, что не зная броду, нынешние «сверхчеловеки» лезут в эту природу ногами и руками, а она мудрее их, только слабее в своей доверчивости и доброте.

Она с нами обращается чаще всего благородно, а мы исподлились и ее, как подлюгу, лапаем.

Проживу я здесь неделю, а если выйдет, и две. Завтра опять пойду в лес и продолжу это письмо. Оказия будет не скоро. Поэтому у меня есть возможность продолжать и продолжать письмо. О литературе не напишу ни строчки. Ну ее к черту! Разве что перед отправкой несколько слов о деле.

Да и чего о ней писать? Все ясно. Вчера вон радио про Норильск рассказывало. Уж так разливались, так разливались! А о том, что этот город построен на человеческих костях, — ни слова. Такой вот радиоправды и от нас хотят.

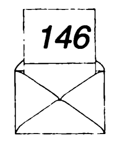
А сейчас, когда я ходил по лесу, заснеженному, тихому и чистому, мне захотелось уйти работать егерем или лесником, или черт его знает кем, но чтобы быть в лесу постоянно, отвыкнуть от города и

людей (а я знаю — это возможно, и у меня даже характера на это хватит), но надо и писать бросить, иначе опять, даже и в лесу, будешь мучиться и потянет к кому-нибудь трепаться и плакаться. «В свое время я имел мужество не писать», — сказал один хитромудрый наш классик, но он был трус и цветистой этой фразой прикрывался. А как бы хорошо было набраться мужества и бросить писать не от трусости, а от полного сознания бесполезности этого занятия.

Да-а, а сейчас снова вечер. И снова сине все вокруг, и каждую минуту синь сгущается. И чем синей вокруг, тем тише и сиротливей деревушка — ни звука, ни огонька, и лес вокруг потемнел. В нем бука притаилась, ребятишек пугать будет и домой загонять с улки. А тут и ребятишек не видать. И лошадей не видать. Сине, тихо. Ночь приближается. Снежная, с морозцем. А по белой земле, по мерзлым кустам ползет и ползет желтая наледь. Дна не видать. Воды не слыхать, а ступишь — мокро и провалиться можно по уши. И ночью будет сочиться наледь, никому не нужная, полуживая, всем вредная. Что-то и в нашей жизни есть вроде нее. Неслышное, ненужное, а затопляет сознание, душу, напластовывается, напластовывается и вот уже воздуху не станет — задохнешься, как рыба подо льдом.

А не написать ли рассказ под названием «Наледь»?

21 января. 22-е тоже. Вчера все же поместился за стол. Писал в «Комсомолку» письмо об одном подонке. Есть такой поэт-песенник Гурьян, автор урапатриотических песен и стишков про красные гвоз-



дики, про мечи и орала, и сам, падла, забросил восьмидесятилетнюю мать. Ему присудили платить десятку, так он и эту десятку норовит зажилить!

Ко мне, как к сердобольному человеку, видно, обратились сходить к этой матери и узнать. Много было в моей жизни тяжелых встреч, но встреча с матерью Гурьяна самая гнетущая, пожалуй. Был у нее еще до Нового года, писать не хотел, но и молчать, успокоиться тоже не могу. Самое возмутительное тут еще и то, что у нас присосались к патриотизму всякие подонки, бо путных людей трудно вынудить писать, чего им не хочется, а подонкам все равно что писать, и святого для них не существует.

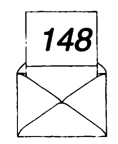
Словом, написал.

А потом со Спирькой в лес подался. Ходили недолго. Валил густой и сырой снег — лыжи не катятся. Вечером к бабушке Даше приехал сын — охотник со товарищи. Ходил к ним. Сын бабушки угрохал нонче двух лосей по лицензии, и я спрашивал — не жалко ли? Говорит, когда идешь, охотишься да весь в азарте — не жалко, а как увидишь такую большую животную на снегу, в крови и судорогах, то на душе как-то неловко делается. Ну, как и все охотники, они большие златоусты. Много чего за вечер-то рассказали интересного. Леня — сын бабушки Даши вырос здесь, в Быковке, и его послушать шибко интересно, как оно тут было во время оно. А времена «оно» и десятками лет не исчисляются. А были и пруд, и лес, и дичь, и даже килограммовые хариусы в речке водились. Быстро мы навели «порядок» в природе! У Лени выросла собака, чудесная лаечка

под названием Белка. И мне еще раз больно стало на душе. Нет Индуса! Стоит лишь деревце на его могиле, качается на ветру.

А сегодня холодно. Ветер дует. Сегодня должен приехать Толя и привезти мотыля. У нас с этим зверем дела очень плохи. Привозят его из Челябинской области, и когда продают, на улице демонстрация больше, чем в праздники. Если привезет мотыля — порыбачим, а если нет, значит остаются лыжи и в лес. Тоже неплохо. Маня читает Булгакова в «Москве». Хихикала весь вечер. Закончила первую часть. Сейчас моя очередь наступила. А вчерась деревня наша шумела — Крещенье праздновали быковцы. Брагу пили и песни пели. Время мало касается наших российских людей. Больше это касается транспортных средств — лошадей не стало, так ходят пешком и носят на себе грузы разные: котомки, вязанки сена, вязанки дров. А нравов? Нравов все-таки почти не коснулось время. Так маленько, краешком. Если сопоставить изменения и разруху в природе с людьми деревенскими, то можно подумать что везде и всюду еще стоят дремучие леса и реки все чисты.

А тут по радио трезвон: «сдвиги», «величайшая эпоха», «революция в самосознании людей», «шаги саженьи», «на пороге...» Конечно, Быковка — деревня нетипичная, да вот беда, деревень таких у нас несть числа, и в городе люди живут все больше из деревень же, да и там умудряются сохранить свою «косность» и привязанность к обычаям. Видно, не так-то просто вытряхивать из людей то, чего тысячелетиями в них врастало.



Сколько все-таки работы для мысли в наше время! Сколько вопросов задали человечеству эти наши пятьдесят лет! Ах, если бы все осмыслить и взвесить трезво, философски, задавши хотя бы один суровый себе вопрос — были ль мы готовы к революции? И стоила ли овчинка выделки? А тут новость завез один парень из Москвы. Пырьеву поручили инсценировать (экранизировать) «Братьев Карамазовых»! Вот это да-да-да-а! Говорят, Алов и Наумов сделали превосходно «Скверный анекдот», но раз превосходно, значит неприемлемо, и вот в пику им поручают «старшему товарищу» показать этим удальцам, «как надо показывать Достоевского». Батюшки-светы, а мы еще в тайниках души ждем каких-то снисхождений! Глупость, глупость и тупость торжествуют, а мы ждем!..

23-е. Значит, загнул мороз. И что значит? Значит надо писать. Вот и написал конец рассказа «Фотография, на которой меня нет» — это один из трех последних рассказов «Страниц детства». Пишется, как и все рассказы этого цикла, легко, непринужденно, и жаль будет, когда я закончу эту книгу и «иссякнет святая струя».

Приехал Толя, точнее, пришел. Понесло его где-то в стороне по морозу и бездорожью. Еле отогрелся. (Мотыля не привез. Не досталось!) Привез почту — письма, газеты, «Новый мир» № 11. Два письма добрых — одно от редактора «Совписа», которому послал я два последних рассказа для книжки. «Ясным ли днем» он нашел «превосходным» рассказом и сообщает, что в феврале выпишет мне «одобрение». Получил письмо от А. Софронова. В

«Огоньке» третий год пошел, как лежит мой одобренный рассказ. Я рассердился и написал главреду дерзкое письмо. Ответ пришел быстро с успокоением — «Скоро в ближайших дадим. Извините и еще присылайте».

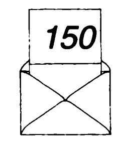
Пришло письмо из правления. 9-10-11 февраля пленум по журнальной прозе и критике. Приглашают. Думаю, к той поре подойдет редактура в «Молодой», но если и не подойдет, все одно приеду.

Смотрел газеты. «Литературка» становится интересней, хотя о литературе в ней по-прежнему всего ничего, а вот «Россия» поблекла рядом с нею, как пасынок выглядит. Жаль. Все же это наша, российская газета. Не так уж у нас много своего-то. Начал читать Булгакова. Ну и ехидный же мужик! И талантище же! Ей богу, обаятельнейший писатель. И такую силу, как Булгаков да Платонов, держали втуне, хотя одно время в литературе нашей было — шаром покати.

Маня стряпает пельмени с капустой. Спирьке привезли огромную кость. Грызет ее со стуком и бряком.

А что, Александр Николаевич, утомил я, пожалуй, Вас? Хотя Вы и любитель послушать мои «сказочки», но все же и меру знать надо.

А потому закругляюсь-ка я. Остается лишь написать, что «Синие сумерки» пока не вернулись. Пойдут, наверное? Я их «подправил» очень ловко и осторожно. Повесть так хорошо обдергали, что главное осталось, а то, что цензуру может раздражить, как языком корова слизнула. «Ясным ли днем» я Вам привезу потом в уже окончательной (пока) редакции.



Вот и все. По старой доброй российской традиции остается передать всем и от всех поклоны, а отдельный и самый низкий (вот Вам!) Наталье Федоровне, а еще Толе, Аннете, Юрию и пуделю Вашему Караю. И надо расставаться с письмом. А жаль чего-то. Вроде бы болтал и болтал с Вами о чем хотелось и как хотелось. А это так славно болтать, как душе хочется.

Обнимаю Вас — Ваш Виктор

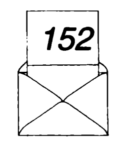
*А. Макаров В. Астафьеву**
21 января 1967 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Я даже не смог сразу ответить на Ваше последнее письмо, погрузился в очередной припадок черной меланхолии и подобно гоголевскому Поприщину целыми днями лежал «на постеле». То ли потому, что была температура и отчаянно ныл живот (обожрался жареных пирогов), то ли температура была от отвратительного настроения, «пахонтрии», как говорила одна старушка у Островского. Горю я, родной, по всем статьям. Горю потому, что где-то заколодило со статьей о Вас, и я же понимаю, что чем дольше я с ней тяну, тем меньше у нее возможностей появиться в предпраздничных номерах такою, какою мне ее хочется видеть, а как только пытаюсь применяться, так опускаются руки. Горю за про-

* Ответ на письмо В. Астафьева от 13 января.

шлые грехи. Вы меня чихвостили за «Разговор по поводу», а Яков Ухсай прислал восторженное письмо о моей книжке о Межелайтисе. Прямо пляшет от радости, что я так вежливо высек его за ложное новаторство и повторение задов нынешних западноевропейских декадентов. Вот так здорово, а я-то думал, что наоборот, я восхвалил этого поэта не в меру, может быть, но искренне, неужели в самом деле пишешь одно, а получается другое? Спасибо за отзыв о чеховской статье. Право же, она недурна. Во всяком случае мне удалось в нее впихнуть те места, которые мне так дороги у него и насчет «сволочного духа», и «материалов», и свободного художника, и того, что народу нужна вера и красота, а не только материальные блага. Все это писалось прямо в современность, только этого никто, кажется, не заметил, статья затерялась в толстой книге, и мое исповедание веры по Чехову, словно «глухая исповедь попу». А ведь это действительно исповедание веры, только, как говорится в послании апостола Иакова, «вера без дел мертва». А ни у кого так не расходится вера с делами, как у современного литературного критика, вернее, не осуществляется в делах. Вам-то что, художникам, у Вас всегда есть возможность написать о росинке, трепетно поблескивающей румяным утром в чашечке полураскрывшегося цветка, но не может же критик писать о росинке. Вот я буду писать о «боевых трубах поэзии» в «Красную звезду», благо заказали рецензию на сборник военной лирики. Жить же надо ж! Вспоминаю разговор с тем же Эдуардасом. Я как-то сказал ему: «Меня немного



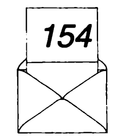
пугает, что в последнее время Вы совсем ушли в воспевание предмета искусства, разве нет других вопросов?». А он мне: «А Вы, — говорит, — дайте мне возможность писать о других вопросах». Тут уж я расхохотался. Сидит передо мной секретарь Союза писателей, депутат Верховного Совета и говорит: «А Вы мне дайте». Во-о! «Думающих людей у нас не любят», — пишете Вы. Господи, а где и когда их любили? Читал недавно 24 том Золя — его литературные статьи, что ни строчка, то прямо о нас, грешных. И что самое обидное, что в отношении к художникам никакие мы не марксисты, а самые отъявленные последователи Прудона, желавшего, чтобы розы употреблялись в салат. И к тому же невежды. Вот Вы пишете о том, что мало знаете. А я, думаете, много? До жути обидно, оскорбительно даже, что в 55 лет остался темным полудеревенским парнем, кое-что кое-где нахватавшим. «Как бежала я через мосточек, ухватила кленовый листочек...» А когда было хватать? Только в ранней юности и в результате бессистемного чтения. Лет до 18 я пытался и Гегеля читать, и в Канта лазить, что уж я там понимал — другое дело, но хоть читал, а потом работа, работа, работа. Ну вот в деревне избачил: года полтора тоже время было, но ведь и девки были. В Литинституте первые два года тогда были вечерними, днем на работе, успевай лишь то, что по программе, прочесть, потом армия, где не до чтения, работа в армейской печати лет шесть, в «Литгазете» еще хуже, при Ермилове газету раньше семи утра в печать не подписывали. В «Знамени» первый зам. — рабочая лошадь. Наконец, вот

уж десять лет я «вольный рабочий». И что же я читаю — рукописи, чужие рукописи, как окаянный, одну за другой — нужно на что-то жить! Я не жалуюсь, я просто выясняю, почему остался темным. И честно признаться, даже культуры чтения не развил в себе — все больше беллетристику, а как что-нибудь серьезное, так оказывается мозга слаба, скоро утомляется. И выходит, и жить в свое удовольствие не жил, и читать не читал. И ни хрена путного не сделал. Только все утешаем себя, что потомки наш подвиг оценят. Черта лысого, у этих потомков своих бед будет не оберешься, только им и думать, что о наших подвигах. И еще скажу: в Ваши годы, молодой человек, у меня еще ни одной книжки не вышло, а у Вас во-он сколько! Так что нечего передо мной своей необразованностью щеголять, во-первых, у Вас еще время есть многое наверстать, а во-вторых, по части темноты я, может, от Вас на сто очков вперед ушел и только свой убогий багаж наловчился хитро высказывать, так сказать, приспособляемость человеческого организма.

В последних письмах я, наверное, много брюзжу. Что поделаешь? Как писал некогда Ваш Павел Васильев:

Вот уж к двадцати шести
Время близится годам,
А мне не с кем отвести
Душу, милая мадам.

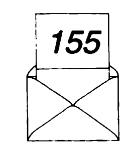
Ну а уж если к 56, и на внимание мадамов рассчитывать не приходится? Вот я и вцепился, как эн-



цефалитный клещ, в Вас, мой родной. Вы уж простите, благо Вы человек добрый и не удастся Вам озлобиться, чего Вы, кажется, боитесь, даже если общие обстоятельства не будут особо благоприятствовать. Где уж нам уж. Посердимся, пофырчим, на близких сердце сорвем, да на том и успокоимся — а гори все пропадом.

Ну что Вам сказать о московских новостях. Не такие они уж веселые, хотя и комичные. В «Октябре» погорел роман... Бабаевского. В «Москве» Елизара Мальцева и, кажется, стихи Винокурова. У Перцова в статье выкинули упоминание о каких-то стихах Смелякова. Пришла верстка Наташиной книжечки, ан по пути из редакции в типографию еще один острый рассказец полетел. Но она теперь у меня после болезни умная стала — я, говорит, решила не волноваться, хушь что ни случись, жалко, конечно, что после всех утрясений вместо восьми листов всего около шести осталось и даже меньше будет. Вот это я понимаю, очень правильный, я сказал бы даже, идейный подход. Будем следовать гегелевскому «все действительное разумно» и радоваться тому, что пока действительны и речка Быковка, и затаившиеся подо льдом хариусы, «и снег, до окошек деревни лежащий, и зимнего солнца холодный огонь», и мы с вами.

Да вот и отрадная новость, статья в «Правде» от 20 января — письмо какому-то проработчику из МЭИ, обвиняющему своих коллег в безыдейности, нарушении принципов марксизма и т. д. Очень меня порадовала эта статья, очень она своевременная, ибо уже вострят зубы те, кто любую попытку что-то



по-своему осмыслить объявляет вражеской пропагандой. Не хватает нам только «китаизма». Термин этот, кстати, пустил в ход Белинский и как в воду смотрел.

Низкий мой поклон Марии Семеновне, очень я рад, что у нее с Наташей какие-то свои печки-лавочки, своя переписка. Привет Андрюше, Ирине и Вашему старшенькому, с которым рано или поздно я теперь, видимо, познакомлюсь.

Наташа и все мои домочадцы, включая самого благоразумного из них — Карая, желают Вам поскорее появиться у нас. Так-то.

А. Макаров

P. S. Глупо так подписываться, как на ведомости, а одним именем страшновато. Вам-то хорошо, Вы молодой, а про меня подумаете, небось, и чего он в друзья лезет. Поздно. Все равно уже влез, а?

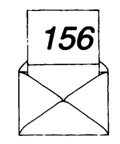
Если не видели японского фильма «Гений дзюдо» — посмотрите. Стоит.

*А. Макаров В. Астафьеву**
30 января 1967 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Получил вчера Ваше прельстительное письмо и вдоволь набродился вместе с Вами и Вашим волкодавом Спирькой по косачиным ямкам и наледи,

* Печатается по книге В. Астафьева «Зрячий посох» (М., 1988).



вроде бы даже и морозным воздухом подышал, и тишину послушал. Лежа. Что-то я совсем разладился, уложили в постель, советуют на три недели лечь в клинику, да ведь Наташа все равно не отпустит. Порадовался было тому, что Вы приедете в начале февраля на пленум, а вчера вечером пришла Евгения Федоровна и сказала, что пленум перенесли на май.

Ночью с 28 на 29 умерла моя мачеха. Мне сказали утром, ибо после всяких уколов я наконец заснул.

Что Вам сказать? Странное какое-то ощущение. Конечно, ей было уже 86 лет, а все же жалко, какая-то часть жизни — лет десять было прожито вместе. Она была хороший человек и не обижала меня, а уж когда стал взрослым — и ценила. Любила ли? Не знаю. Да и столько уже ушло людей, которым мы были ближе и дороже, я как-то привык к тому, что все «мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать». Вот лежу и думаю — вспоминаю. Думаю о том, что каждый из нас постепенно уходит, когда уходят люди, составляющие как бы часть тебя, и постепенно средь новых поколений начинаешь себя чувствовать, как незваный гость, докучный и чужой, вспоминаю свое отрочество — невеселым оно было. В детстве я очень был избалован лаской и добротой. Мать умерла, когда мне было две недели. Взяла к себе бабушка — школьная сторожиха, в которой много было схожего с тем образом, какой Вы восстанавливаете в своих рассказах. Взяла со страхом, боялась учительницы, очень строгой, а в прежние времена сторожиха, в сущности, была и

прислугой при учительнице. Страх тем более был силен, что в школу она поступила лет за 15 до того с дочкой, моей матерью, и учительница то и дело корила ее этим. А тут опять. А что было делать? Отцу 23 года, его мать служила где-то экономкой у богачей в Кимрах, отец в Москве, и меня отдали отцовской тетке в деревню, у которой своих был целый выводок.

Там я и пребывал первый год жизни, пока бабашка не пришла навестить и увидела запаршивевшего младенца, завопила, завернула в полушалок да и пошла, как рассказывала, все шесть верст шла да бога молила: «Прибери, господи, Шурку». Но бога, как известно, нет либо он плохой помощник.

К счастью, учительница, старая дева, воспылала любовью к брошенному ребенку, и остался я при школе. В сущности, этой учительнице, Софье Дмитриевне, я и обязан и воскрешением своим, и материальным благополучием в детстве, куда же было бабушке с ее пятью рублями жалованья. Видел я от нее только доброту и ласку, а ведь были годы тяжелые, бесхлебные (1913—1923), и только за одно она, бывало, на меня дулась, что когда бабушка уходила в город, я ревел, а когда она — нет. Словом, в детстве я был и облелеян, и облизан. И всякое благо в меня вливалось. Бабушка носила в лес, на козлах, да в поле (по летам она работала у попа на косьбе да жнивье), а учительница приучала к книге. Собственно говоря, я сам выучился с малых лет. Как любимчик Софьи Дмитриевны, в любое время мог заходить в класс, и даже место на первой парте было мне отведено, вместе с ребятами орал буквы-звуки

и в три с половиной года научился читать бегло, даже не по слогам.

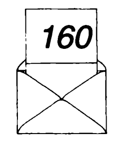
Вроде бы я помню этот вечер, сижу с бабушкой на кухне, где мы жили, и читаю ей какую-то сытинскую книжку (их у меня было много), вдруг вихрем влетает С. Д. — была она резкая, рослая, красивая, совсем не похожая на учительниц, в литературе изображаемых, ее и ученики, и отцы (бывшие ученики) трепетали — и спрашивает: «Анна! Что это Шурка тут у тебя разговорился, я из-за стенки слышу». — «Да вот, — отвечает бабка, — говорит, что читает, так, болтает что-то». Я даже обиделся и тут же продемонстрировал свои возможности. Учительница просто в ужас пришла и наутро повезла меня в город, к врачу, которого обычно вызывали ко мне — в раннем детстве я хворый был.

«Андрей Петрович! Он читает». — «Читает?» — «Да, читает». — «А вы, С. Д., заставляете?» — «Что вы! Помилуй бог!» — «Ну тогда вам-то какое дело? Пусть читает». Хороший был врач и человек. Да за что-то расстреляли его в 1918 году, это когда на Волге готовился эсеровский мятеж. А тут гражданская война, приехала сестра учительницы, бывшая начальница гимназии. Стала второй учительницей и от скуки принялась обучать меня немецкому и французскому. Бабушке, конечно, лихо приходилось, из сил рвалась, чтобы угодить, всякое бывало, но на меня-то одна благодать изливалась!

И вот после такой благодати и деликатного женского воспитания попал я к отцу в Москву. А что было делать? Сельскую школу я кончил и благодаря ей грамотным навек сделался, ходить в город дале-

ко, а нанимать квартиру средств нет. А отец так года с 1918 по летам к нам наезжал, он рыбной ловлей увлекался. А за ним и новая семья стала приезжать. Очень милая ласковая учительница с бабушкой напополам в голодные годы корову завели и отца привечали — авось Шурку возьмет, в Москве будет учиться.

И взяли. И по-доброму взяли. Только уж больно кислым мне, набалованному, московский хлеб показался. Отец уже пил, в деревню приезжая, он держался — а тут стесняться было не перед кем, мачеха разрывалась от хлопот, сестренке два года, а через три года еще Анатолий родился — я и в мальчиках, я и в няньках. Учиться они мне давали и даже гордились успехами, и все же не родной. И обувать, одевать приходилось все тем же учительнице с бабушкой, уж как они это на свои пенсии (сорок у одной, двадцать восемь у другой) ухитрялись, не знаю. Помню только, приехала бабушка в Москву и говорит мачехе: «Марья Федоровна, да как же у тебя Шурка в школу-то ходит, ведь у него задница голая». Но это еще все с полгоря. Первые годы так и сяк, отец, бывало, и протрезвится, книжки зачнет читать, а дальше худо пошло. Очень хотелось ему в нэповские годы «хозяином стать», ан ничего не вышло, и он опускался как-то очень быстро, и тут все на мачеху, она тоже портнихой была, легло. А у нее своих двое. Главное, уж атмосфера-то была куда как не тепличная. Помню, после первого года приехал я в деревню на лето и такие песенки учительнице пропел, что у нее глаза на лоб вылезли. Нет, без охальщины, конечно, охальщиной-то, впрочем, в



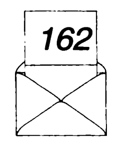
деревне не удивишь, а что я все эти слова знаю, они знали. Но вот чтобы их нежный Шурка, еще до отъезда сентиментальные стишки сочинявший, вдруг с восторгом открывателя пел про пьяного, обнявшегося со свиньей, — это было выше разумения.

Ну, понятно, чем больше я подрастал, тем конфликт обострялся, кончил (вернее, не кончил, но этого никто не знал) девятилетку, потянуло бродяжничать, года два работал где попало, и на меня махнули рукой. Мачеха говорит: «Он только романсьё почитывает», отец нет-нет и ляпнет — ни х.., мол, из тебя не выйдет. Потом, слава богу, это уже в тридцатом году, год проучился в ЦИТе на слесаря, послали в Березняки, ан там слесаря еще не нужны были, да за год нас ничему, кроме «ласточкина хвоста», не научили. И сбежали мы всей группой; опять, значит, к отцу, бабка в деревне: сама голодает, она жила уже в доме отца, куда все на лето ездили. Но коровы уже не было, да и ничего не было. Добрая соседка пристроила счетоводом в бюро заборных книжек — пошла зарплата приличная, а все же через года полтора удрал, как Ваш Илька, только уже взрослым, в деревню, к бабушке, стал избачом и нежданно-негаданно в 1934 году был премирован на олимпиаде колхозной самодеятельности учебой в Литинституте. И опять в семье отца — ну, правда, тут уж все по-иному, стипендия 225 рублей, в те годы деньги приличные, дома уж вроде защитника мачехи от пьяного отца, тут-то и сложились те хорошие отношения, что держались до конца ее дней.

А когда в 37-м женился, ушел к теще, совсем ста-

ло хорошо — всего ведь две комнатки было, Лене пора замуж выходить. Анатолий тоже подрастает, и мой уход был очень кстати. А отец умер еще в 1935 году. Наверное, во многом я тоже немало ей досадил, тоже ведь не сахар мальчик, с претензиями, который вместо того чтобы жить с отцом, пропадает где-то днями по библиотекам. Единственное, что меня утешает, что последние лет десять она прожила спокойно, мы ее избавили от Анатолия — он весь в отца вышел, пьет, буянит, дерется с ними, бывало. А тут его в руках держали маленько. Пока трезв — все ничего, пьяный — словно подменили. И устал я маленечко от него, устал. Вчера напился с горя, закатил скандал, ты, мол, мать не любил, а она тебя любила и все мне тобой в нос тыкала — вот, мол, Шурка хороший, а ты пьяница, пропащий человек. Уж не знаю, действительно ли она меня любила больше его, все это чепуха, но в нос мною действительно его тыкала, и зря. К матери, пока была жива, его, бывало, и не прогонишь навестить, а сейчас чуть не в истерике бьется. Сложна душа человеческая.

Ну вот, дорогой Виктор Петрович, разговорился я, может, о чем и не надо, ну да ведь поговорить-то мне не с кем. Наташа как окаянная носится в связи с организацией похорон, сестра от горя расклеилась, Анатолия одного отпускать никуда нельзя, напьется, не дай бог, в вытрезвиловку попадет, а я лежу и поговорить не с кем. А что делать дальше — не знаю, теперь у него своя комната, не отпустить туда его мы не можем, а там ведь пропадет. И удерживать его теперь в рамках некому, все же, бывало,



мать и попугает его — живи, мол, там, ты мне не нужен, что я с тобой делать буду. А вот он десять лет жил — и не помогло. Неужели все-таки наследственность — такая неодолимая штука, и прав Золя? Да и не только наследственность тут — пятнадцати лет ушел он на войну, какой-то генерал в госпитале, где он работал электромонтером, сманил его, сделал там личным шофером, хватил он и генеральских объедков, в сущности, человек без воли и характера: скажут — сделает, а дума одна — как бы выпить.

Вот видите, никак не могу остановиться, а давно пора перестать выдавать «семейные тайны». Трепач я, да?

Так нет же, не совсем. О нашей общей с Вами немочи — литературе я тоже думаю. Сколько ее ни посылай к черту, все равно не дает покоя эта болячка.

Раскрыл вчера «Юность» — боже ты мой! Роман Авдеенко «Я люблю». Вторая часть, написанная через тридцать лет после первой, — рабочий Шолохов объявился! По правде говоря, я первую часть когда-то читал, но убей меня бог, чтобы хоть что-нибудь сейчас помнил. А открывается журнал повестью Титова «Всем смертям назло» — в послесловии Полевой объясняет, что она написана бывшим шахтером, потерявшим обе руки, как Ваш герой, что карандаш он держал в зубах и счастлив с женой и ребенком. Прочитал несколько страниц — по-моему, это страшно, фразы одна банальней другой, думает герой только правильно и только о бригаде и об озеленении. Господи, конечно, то, что сделал этот парень, — подвиг мужества, даже если он понимал

преимущество своего положения, только ведь литературе-то нужны страстотерпцы духовные, а не физические.

Ну будя. Наскулил столько, что Ваш Спирька небось за все отсутствие хозяев не наскулил.

Марии Семеновне сердечный поклон. Все — Наташа, Аннета и Юрий и Анатолий всем кланяются. И пудель тоже.

Давайте лапу.

Ваш А. Макаров

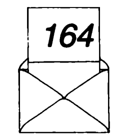
В. Астафьев А. Макарову
Февраль 1967 г.

Дорогой Александр Николаевич!

Захватил я все-таки с собой столичный грипп, а он, зараза, куда крепче периферийного оказался. Дней десять пластом лежал, и сейчас еще болит спина и вялость в теле да звон в голове. Следом за мной болели Андрей и Ирина, а сейчас лежит мать, а я хозяйствую. Хозяин из меня, прямо надо заметить, хреновый, и зло от меня да раздражение — и никакого толку.

Работать совсем не могу. Выбит из колеи, а это действует на мой характер весьма и весьма отрицательно. И редактор мой не едет чего-то, а я его жду, жду...

В середине марта я не приеду на пленум. Нечего кататься взад-вперед. Но вот в середине апреля мы, наверное, приедем вместе со старухой. Дело в том, что отдел пропаганды Союза затеял обсуждение



«Кражи» и последних моих вещей, а я не возражал. Надо послушать и уловить, может быть, важный какой-то момент в работе, который, чувствую я, наступил, а где он, в чем? — уловить и понять не могу. Когда меня спросили по телефону, кто бы сделал на этом обсуждении вступительное слово, я брякнул о Вас. Брякнул, а потом подумал, что, не спросясь-то, наверное, не надо было этого делать. Но я опять же подумал, что Вы уж все читали, а кому-то мучиться бы пришлось, и кроме того, думаю, раз отдел да еще пропаганды, так он, может, и заплатит Вам маленько за это дело.

Ладно ли я поступил-то?

Как Вы съездили в Тарусу? Как Толя? В больнице или дома? Привет ему, больному, большой. И Юре с Аннетой тоже. Юра меня тогда проводил, и как, оказывается, удобно от Вас уезжать.

У больного есть одно хорошее преимущество перед здоровыми — он может себе позволить читать. Дочитал я «Мастера и Маргариту». Мне вторая часть, кроме глав о Понтии Пилате, не понравилась. Тут явный перебор пошел. И все на грани шизофрении, воздействие скорее на психопатию, а не на ум и сердце. Я аж за голову начал хвататься, дочитывая разогнавшегося Булгакова. Мне кажется, при желании такое наговорит кто угодно, а вот первую часть никому больше не написать.

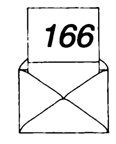
Давно добирался до «Дюма» Моруа. Прочел. Был под впечатлением большим и сейчас под ним нахожуся. Такие люди и миры, как Дюма, будто нарочно существовали для того, чтобы собою подчеркнуть

наше ничтожество и нашу обывательскую сущность. Какой наполненной и яркой жизнью они жили! И оттого им хорошо было делаться романтиками и выдумщиками. А мы, как черви-древоточцы в дверке, скрипим-скрипим и горсть опилок выточим. Выше бытописательства и натурализма нам и не подняться, потому что люди мы не свободные в действиях своих, а уж отсюда прямая зависимость и мыслительная. В лучшем случае мы можем что-то увидеть и более или менее списать и тут достигли даже виртуозности и предельной простоты, часто переходящей границы натурализма. А поднять моральную, этическую или — уж совсем нонсенс! — политическую проблему нам не дано, потому как у всех у нас, кроме Москвы, пожалуй, задница не по циркулю. А без проблемы, без углубления в действительность какая может быть литература? Слова на бумаге да и только.

Я вот пробовал тут писать в «Литературку» статью о рассказе. Писал, писал, а потом перестал. Боже мой, как все плоско, уныло и примитивно! Мысли, которые я с трудом выковорил из башки, и на мысли-то не похожи вовсе, а на конские шевяки, что валяются на дороге и раскисают от первой сырости и прилипают к сапогам, а не к сердцу. Так вот и сижу в депрессии или пессимизме полном. Не то хвораю, не то хандрю и ничего не могу делать.

Привет Наталье Федоровне от меня и от Мани. Хочу в деревню скорее, уж мотыль Ваш пропадает, а все не получается.

Ваш Виктор



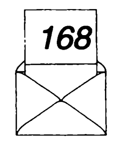
А. Макаров В. Астафьеву
9 марта 1967 г.

Дорогой мой Виктор Петрович!

Не хотел я Вам писать по причинам, о каких сообщил Марии Семеновне: чтобы не заслонял для меня Виктор Петрович писателя, о котором пишу, кажется, уже семидесятую страницу. Но приходится, поскольку Вы пребываете в мерехлюндии послегриппозной, в каковой и я пребывал добрых месяца полтора. Видите, как получается. У меня мерехлюндия пока прошла, хотя положение в общем не изменилось, неделю назад меня опять прихватило да так, что начался новый круг исследований, теперь подозревают, что какая-то поджелудочная железа шалит. Конечно, я предпочитал бы, чтобы у меня селезенка ёкала, как у юного жеребчика, но, увы, годы не те. Это и помешало мне закончить статью хотя бы начерно — один день даже с воды тошнило, а два дня отлеживался в каком-то полусонном состоянии, столько в меня всяких утоляющих вкатили. Но, как видите, духом не падаю.

Вы — умница, что в марте не поедете. Дюмы потому и писали много, что на пленумы не ездили и редакторов не ждали. Сколько мы убивали времени на то, пока кто-то прочтет да извлечет из себя всякие замечания. Не очень-то Вы поддавайтесь редакторам. Ну как Вы могли согласиться, чтобы после слов «У бабушки на все свои объяснения» вся эти объяснения при печатании выкинуть? Эко дело, старуха измену подозревала, это же естественное для нее объяснение. Что Вы даете ощипывать себя,

как курицу? Вон Горькому на просмотре Булычева перед выпуском спектакля какой-то чин, тогдашний председатель Комитета по делам искусств (забыл его фамилию), заметил: «Уж очень он, Булычев, у Вас, Алексей Максимович, хорошим получился». А Алексей Максимович ему в ответ: «А они и были хорошие». Конечно, мы с Вами не Горькие, но, думаю, в Вас еще не выгорела вера в то, что редактор — помощник писателя и улучшает рукопись. Провинциальная эта вера, и Вы достаточно твердо на ногах стоите, чтобы при случае и в морду дать. Ведь иногда бог знает, что бывает. Лет пять-шесть назад пришлось мне редактировать однотомник Марка Колосова. Читаю его «комсомольские рассказы», те, какими он в литературу вошел, и вижу, боже мой, это же преснятина и мура какая-то, а насколько мне по юным годам помнится, в них искорка и живинка была. «Марк Борисович, — говорю, — что же это такое, я ведь чего-то другое помню». — «Так ведь, — отвечает, — они с двадцатых годов раз десять переиздавались и каждый раз редактировались». — «А ну-ка давайте самый первый вариант». Еле-еле отыскали, из Ленинской библиотеки даже одну книжку вытребовали. Гляжу, нет, не подвела меня память, как ни слабы литературно рассказы, неумелой рукой писаны, но жизнь в них есть, атмосфера времени, язык не прилизанный. Так я ему и восстановил все по первым изданиям. Старик сначала ужасался, потом примирился, а вышла книжка — так все рецензенты как раз писали, как-де, мол, хорошо, что от ранних рассказов веет ароматом эпохи. По правде



сказать, кроме аромата в них ничего и не было, а в том, что он потом писал — ароматом вообще уже не пахло. Так-то. Я над столом каждого редактора вешал бы плакатик: «Осторожнее с писателем!» И зря Вы себя умаляете, чем больше я думаю о том, что Вами написано, я все больше прихожу к выводу, что Вы не только талантливы, но и умны, а что не столь сильны в том, что Горький называл «литературной грамотой», так это общая беда литературы нашей, писать мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. В чем Вы безусловно правы, так это в том, что приблизились к какому-то рубежу, через который надо перешагивать. Вот кончите свои рассказы о детстве, напишете еще одну повесть, и для меня ясно, что какой-то круг будет исчерпан. Пока все это в одной системе. А вот куда вышагнуть из круга, Вам и мне пока неясно. Над этим, в сущности, я и бьюсь, уж очень хочется в статье что-то подсказать, да ведь чувствую, нет, не подскажу, не знаю. Все, что Вы написали, как-то улеглось и осмыслилось, конечно, субъективно, наверное, так, как мне это видится, а будущее пока туманно. И неужели Вы всерьез думаете, что Вам читатели это на конференциях подскажут? Ни хера они не подскажут, будут укорять за то, что о современном молодом человеке ничего не написали, да требовать нового Корчагина. Читатель-то у нас традиционалист. Выступать я, конечно, с Вами буду очень рад, хотя и не умею делать вступления, расхожусь обычно только в заключениях, когда уж очень обозлюсь. У современного писателя положение вообще не ахти. Толстые и Турге-

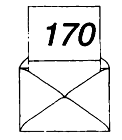
невы с описываемой ими средой экономически были связаны, они и свой круг дворянский, и мужика не просто знали, а чувствовали. У нас же человек, становясь писателем, входит наглухо в круг таких же, как он, пишущих да по ресторанам бегающих, а весь остальной мир для него, как для соглядатая из Земли Ханаанской — видит, что несут гроздь винограда на шесте, а кто эти несущие, и что это за гроздь, и чем они отличаются от него прежнего, когда он гроздь носил, для него почти загадка. Мне кажется, Вы не совсем правы в оценке второй части Булгакова — ее очень порезали, говорят, но не в этом дело — мысль-то ведь ясна, горькая мысль — всего два человека в этом мире, да и то им тут не место. Да еще мысль «рукописи не горят», оказавшаяся по отношению к его наследству даже пророческой. Но об этом как-нибудь, потом, не все, конечно, хорошо — полет на метле прелестен, а бал отвратителен, замогильный какой-то. Ну вот, пришла сестра вливать мне в вену десять грамм новокаина. Надо кончать. Кланяйтесь Марии Семеновне и ребятам Вашим. Обнимаю Вас.

А. Макаров

В. Астафьев А. Макарову
22 марта 1967 г.

Дорогой Александр Николаевич!

Уж так получается, что, получив от Вас письмо, я испытываю нутряную потребность не то чтобы от-



ветствовать, а поболтать с Вами и тем втягиваю Вас в переписку, хотя я Вам, кажется, говорил или писал, что отвечать мне совсем необязательно. Не скрою, мне Ваши письма — это отдушина и радость, но не обременяйте себя, тем более в нездоровье будучи.

Я убрался в деревню. Уже скоро десять дней здесь. Оклемался, отдышался и... рыбачил. Погода у нас холодная, никак зима не сдается, и клев неважный. Ловлю ершов в основном, изредка попадают окунишки, но я везучий на рыбалке, меня даже в деревне колдуном за это звали, и при бесклевье, на глазах у изумленных рыбаков, почти на сухом месте просверлил лунку и поймал двух приличных голавлей, то-то рыбаки ахнули. Говорят: «А мы-то, а мы-то!..» и больше добавить ничего не могут, и я их понимаю: мы-то думали, тама рыбы нет, у берега-то, думали, и лягухи не водится, а ты-то... Словом, посрамил я род людской, а сын меня посрамил, собственный сын! Поехала моя Мария встречать редактора, который дал телеграмму, что двадцатого выезжает, и... не приехал, падла такая. Я деткам своим послал ершишек и окунишек на уху. Мать приезжает — вот, мол, папа деткам рыбки послал, старается, а сын открывает ей холодильник, и там лежат окуни, сорожины и голавль. Оказывается, он шутки для поехал с ребятами на воскресенье поудить и играючи наловил там рыбы, а я ее тут ищу, сверлю, а из всех дыр дымина валит... Так вот всюду посрамляет и обставляет нас молодежь!

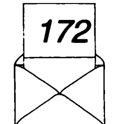
А редактора-то нет! Я хоть и хорохорюсь, но душа не на месте. Ведь если они боданут мне книжку,

я на лето останусь без копейки денег и тогда... а все тогда накроется: и поездки, и покой, и семейное благополучие.

Редакторы... А Вы тоже, хоть и старый лит. волк, а наивный, спасу нет. Неужто вы всерьез подумали, будто это я дал кастрировать повесть в «Молодой»? Да меня никто и не спрашивал! Цензор — та придралась к тексту, к бабушке этой несчастной, и еще кое к чему, а журнал на выходе, ну и рубили, как хотели. Уж лучше бы они совсем эту фразу вместе с куском выбросили, тогда б не так нелепо было. Но в «Молодой» со мною и не такие штуки выделывали. Я, кажется, рассказывал вам, как обошелся Котенко со «Звездопадом»? А что сделал Зубавин с рассказом «Два бойца» или «Сашка Лебедев», знаете? Я освирепел и написал Зубавину письмо, где даже и оскорблял его последними словами, а он... Он даже не рассердился на меня. Видно, много таких писем получает. Ответил только: «Посидели бы на моем месте...»

Вот и «Кражу» тоже маринуют. «Виктор Петрович, укажите карандашом все места, где есть расхождения с журнальным вариантом», — говорят. Я отвечаю: «Помилуйте, как можно! После журнала я объемно перелопачиваю вещь, делаю всеобщую правку, как же я Вам укажу?!»

Ну вот договорились, что редактор еще и еще прочтет повесть ту и другую, а затем зав., а затем главный и «отметит», а «Вы уж на месте утрясете, только, пожалуйста, помните о лите. Мы Вам зла не хотим, но лит, лит!..» И руками себя хлопают. Все добра хотят, все хорошие, да боятся лита! И где уж



боязнь, а где перестраховка — не всегда различишь. Беда прямо!

Написал я все-таки статью о рассказе в «Литературку»*. Плохо получилось, плохо. Мысли вроде коровьих лепех, серо-зеленые, но послал, хотя бы для того, чтоб знали, что данное слово пытался сдержать. Продолжаю работать над «Страницами»**, и работа эта меня радует. А дальше «Пастух и пастушка» и, действительно, потом коридор пустой. Не в смысле тем и замыслов, у меня их всегда в башке роится уйма, а в чем-то другом. Но если хунвейбины разные не помешают, у меня вроде бы еще перспектива с годик не писать — планируется моя книжка в «Уральскую библиотеку» и переиздание всех повестей в «России» на 69-й год. Кроме того, я пристрою где-то «Страницы» и воспользуюсь тем, чтобы годик поездить, подумать, передохнуть. Многое мне нужно рассказать о войне, о мною увиденной войне, и как это сделать, с какой стороны на войну зайти, надо подумать. Время нужно и пространство. «Страницы» в самом деле что-то вычерпали во мне, какой-то эмоциональный заряд, который можно было растянуть надолго, я в них выхлестнул, и этот источник, так долго меня питавший, иссяк. Попробую «набираться» материала и эмоций в современности. Только недоброе у меня к ней отношение и боюсь, что не пойдет у меня современ-

---

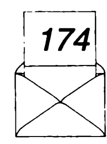
* «Рассказ — любимый жанр». (Лит. газета. 1967, 19 апр.)
** Рассказы о детстве, вошедшие впоследствии в книгу «Последний поклон».

ность. Но есть война, война, хреновина одна... Ну да чего горевать! Скоро уж пятьдесят будет, а там, как цыган говорил: «Зима да лето, зима да лето» — и пенсию писательскую дадут. Вот уж тогда я порыбачу-у-у!.. А поджелудочная железа — это, дорогой мой человек, плохая штука. У Толи-пасечника мучается этим делом жена. Только что вернулась из больницы, после всяких блокад и прочего. Лежит. Велели ей: вина не пить, горького и острого не есть, с мужиком не... того, и вообще... не мять никак живот. Лежит сейчас дома, в Быковке, и пока мало сдвигов. Диета, наверное. Диета Вам только и поможет, а еще бы лес, да деревня, да свежее молоко, да покой... Но «покой нам только снится», как сказал товарищ поэт. Как бы хотелось, чтоб Вы были здоровы и жизнерадостны! Да ведь не маг я булгаковский, а то б моментом эту железу Вашу вынул и другую, стальную что ли, вставил.

Ну вот пришел гость — Толя-пасечник, и приходится закругляться. Потом, дней через несколько, еще чего-нибудь напишу, а пока — будьте здоровы! Наталью Федоровну поцелуйте, Карая тоже, а Толе здоровья пожелайте, Аннете бодрости, а Юрию — чтоб наши в Вене выиграли.

Крепко Вас обнимаю, болезный, но не сдающийся человек. Калязинские ребята, они такие, они эту железу запросто вынали и в утиле на иголки и маковухи меняли, а которые и на водку.

Ваш Виктор

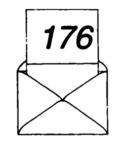


А. Макаров В. Астафьеву
27 марта 1967 г.

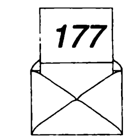
Дорогой Виктор Петрович!

Сейчас в 11 часов отправил в «Знамя» вторую часть статьи и теперь могу свободно поговорить с Вами опять как с человеком, а не как с анатомируемым мною «больным писательством». Получилась у меня какая-то литературно-критическая повесть, за которую Вы меня будете нещадно ругать, буде она появится в журнале. Я же понимаю, что резал по живому телу, а это всегда неприятно и когда больно, и когда щекотно. «Знамя» ко мне так благоволит, что набрало первую половину, пока я еще не кончил второй, и я успел даже прочесть гранки. Жил я последние две недели в вечном страхе, что вот меня схватят и поволокут и я не успею закончить. Ибо вокруг загорелся пожар. После того как 9-го меня опять прихватило, лечащий врач развел руками и категорически потребовал, чтобы провели клиническое обследование. Меня хотели упрятать в университетскую клинику по знакомству, сразу же, но мне во что бы то ни стало надо было в VII корпус Боткинской: во-первых, это привилегированное заведение, где можно и работать, во-вторых, и главное — рядом с нашим домом, в-третьих, в той же больнице лежит Толя со своей язвой, и Наташе, которая остается одна, хоть передачи-то носить в одно место. Но попасть туда... Как в царство небесное. Пришлось звонить Чаковскому, чтобы написал соответствующую бумагу. «Ты чудак, — ответил он, — бумагами это не делается, а делается звонками. И потом почему в VII корпус?

Там хорошо отдыхать, но ни хрена не понимают. Надо лечь куда-нибудь в заведение, где существует школа, вот я позвоню профессору Рыжих, пусть он тебя посмотрит, решит куда, а тогда я приму меры — во вторник буду у Демичева, и все завертится». Пришлось ехать к знаменитости, который сам меня, конечно, не осматривал, а поручил своему помощнику. Моя же цель была одна — чтобы написали они мне этот проклятый VII корпус. И, слава богу, мудрый семидесятилетний старец — светило науки — не обнаружил при помощи своего помощника во мне того, что могло их интересовать, то есть рака что ли, и любезно продиктовал послание следующего содержания: «Дорогой Александр Борисович. Мой помощник, опытный врач Левитан, поговорил с А. Н. Макаровым, осмотрел его. Я тоже поговорил с ним (нет, нет, — вдруг визгливо закричал он машинистке: — я тоже его осмотрел). Опасности нет! считаю целесообразным произвести обследование в VII корпусе Боткинской больницы». Словом, добились того, что хотели. Вышли с Наташей и крестились всю дорогу. Имя этого Рыжиха в медицинском мире прямо всех потрясает. «Ах, Вас сам Рыжих смотрел, ах, ах!» И Чаковский примирился и соответственно доложил Демичеву. И вот тут-то и вспыхнул пожар. Во вторник же звонок. Открываю дверь, и вваливаются трое в белых халатах с огромным количеством аппаратов и для кардиограмм, и пр., и даже с каким-то подобием двустороннего противогаза с гофрированной трубкой для вдувания кислорода. Они были потрясены и тем, что больной сам открыл дверь, и скудости нашей квартиры. Звонок



был столь сверху, что они, наверное, решили, что едут по крайней мере к высокому начальству. «Уволокут, — думаю, — как пить дать уволокут». А статья-то хоть и кончена, но не отделана еще. Стали с Наташей их уговаривать — не надо, мол, сразу хватать, он и сам дойдет, поставьте просто на очередь, предварительный диагноз известен, опасности нет, сам Рыжих смотрел. И опять этот Рыжих помог. Да и Карай тоже, показали мы им все его собачьи фокусы, после чего они и подобрели. Ну, говорят, коли так, пусть нам в клинику IV управления Минздрава РСФСР пришлют медицинское заключение, пусть нам его пришлют, а направить Вас в VII корпус в нашей власти. Но бумага нужна. Опять звоню Чаковскому, он говорит, что заключения остались на столе у Мелентьева, которому и поручил продвигать дело Демичев. Ну, Мелентьева я и сам знаю, думаю, завтра позвоню. А утром не успел проснуться, звонит какой-то начальник из IV управления Минздрава: мне, говорит, все доложено, что у Вас вчера были, только пришлите мед. заключение и мы немедленно... и т. д. Говорит любезно и вроде даже просительно. Звоню Мелентьеву: «Юрий Серафимович, дорогой, золотой, пришлите мои бумаги в министерство, дабы отправило оно их в свою клинику, а я уже сам буду звонить в их отдел госпитализации — телефон они мне сообщили». Господи, думаю, денька четыре протянулась бы эта канитель, мне бы их хватило! Тем более что с 9-го никаких приступов не повторялось, и я даже поправляться начал, сидя на самой строгой диете. Мне бы вроде уж и ни к чему, ложиться-то. Но все равно придется. Уж больно



высоко залез. И вот сегодня впервые позвонил в этот проклятый отдел госпитализации. Отвечают: бумаги есть, все в порядке, мест пока нет, но, может быть, даже сегодня будут, звоните после двух. Так вот все-таки и запрут меня, а на сколько, одному богу ведомо — буду напирать на то, что ведь на обследование, а не на лечение и что чувствую себя вполне прилично. Наташу жалко. Она больше всего страдает, как же вдруг я без нее-то окажусь, а она одна. Бред!.. Она совсем замучилась, и Толя в больнице, и к нему бегает, и очерк обязательный по радио не задался (да и как тут задастся, когда живем как на пороховой бочке) — передавали старый. Вот и все мои труды и дни. Вы-то как? Здоровы ли? Преодолели ли свою ипохондрию?

Пермь все время вторгается в наш дом. Вчера передавали от Вас КВН. Юра был очень разочарован — он ожидал, что Вы обязательно будете в жюри, хотя я и уверял его, что Вам это ни к чему. Очень я надеюсь, что к тому времени, как о Вас пойдут конференции, я ускользну от эскулапов. Низко кланяюсь Марии Семеновне, привет Вашим потомкам.

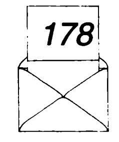
Обнимаю вас.

А. Макаров

В. Астафьев А. Макарову
Начало апреля 1967 г.

Дорогой Александр Николаевич!

Получил Ваше письмо, в котором Вы мне с юмором описываете все свои злоключения и приключе-



ния, связанные с хворобой вашей. Трудиться бы Вам в «Крокодиле» или вести отдел сатиры в «Литературке» и не хлопотать о больницах! Дар у Вас о мрачном и паскудном в жизни повествовать со смефуечками. Такой автор был бы находкой для нашей литературы, алчущей «светлого» и возвышенного везде и повсюду, а Вы в критику ударились. Вот — не критикуй!

Но, кроме шуток, чем Вы больше бодритесь в своих письмах, чем там больше «юмора», тем большее беспокойство берет меня. Не знаю почему, но как-то быстро и прочно я привязался к Вам и Вы мне сделались очень дороги. Так-то я не решился б этого сказать, а в письме вот проще все. Родство душ, наверное? А может, и одинокость наша, еще невиданная и неслыханная ни в какой литературе, понуждает привязываться к человеку, который не заражен высокомерием, который не орет на каждом углу «за русский народ» и с которым просто и интересно быть.

У меня их было немало, друзей-то, но одни из них исторговались на лит. барахолке, другие все норовят горланить о «левых» и «правых», извлекая из этого выгоду или поддакивая кому-то, и все время щупают — а ты за кого? За нас или за них?

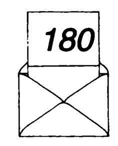
А мне ни за кого не хочется. Писателей я делю только на хороших и плохих, а не на евреев и русских. Еврей Казакевич мне куда как ближе, нежели ублюдок литературный С. Бабаевский, хотя он и русский.

Вот и остался у меня из всех курсантских и прочих друзей — Женька Носов, да Вы и еще один па-

рень со свердловской киностудии, чудесный человек, и дорожу я этими друзьями, и боль их, и беды — моя боль и мои беды. С Женькой Носовым я Вас как-нибудь поближе познакомлю. Славный, светлый мужик и мягкости души, самостоятельности характера необыкновенной. И писатель такой, что читать его радостно и гордость берет за него. А то «друзья» наляпают чего-нибудь и ждут, чтобы их «по-дружески» хвалил, подмазывал, а я не умею и не люблю этого, вот скажешь, а тебе: «Ну да, ты у нас один только могешь... ты у нас!..» С Женькой у нас этого не бывает. Мы можем просто и прямо сказать друг дружке — это вот у тебя здорово, а это хреново.

С нетерпеньем буду ждать Вашей статьи. Откровенно говоря, побаиваюсь. И не потому что Вы там можете меня поругать (ругать давно надо и есть за что), а как бы не осложнила она наших отношений с Вами. Наверное, тут надо сделать вид, что Вы обо мне ничего не писали, а я ничего не читал? Да ведь не получится детской этой игры-то! Но и Вы, и я уже взрослые люди — отнесемся к этому факту мудро...

Сегодня мне всю ночь снились какие-то литературные сны. Ася Соломоновна Берзер приснилась, у которой находится мой рассказ «Ясным ли днем», будто говорит она мне: «Читали, как нас на секретариате-то?» — «Читал», — говорю. «Ну так чего же с таким рассказом идете?..» — «Да я, — говорю, — понял так, что нас больше хвалили...» — «Ничего Вы не поняли...» А дальше пошло что-то смесью — лица, рожи, ужимки и ухмылки разных людей.

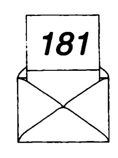


Между прочим, «Молодая гвардия» опять что-то затеяла с книгой. Редактора не шлют и помалкивают. Я так изнервничался, что на руках (в сгибах локтей) выступила у меня экзема, чего сроду не бывало. С 64-го года пьют они из меня кровь. Лопнет скоро у меня терпение, заберу я у них повести и отдам их в другое издательство. Но это значит в нынешнем году мне книжки не видать. А последняя — «Поросли окопы...» вышла в начале 65-го года. Вот тут и проживи! Бесправие писательское у нас все-таки жуткое. Вроде стены кругом, куда ни торкнешься, все лбом стукнешься и отскочишь!

Живу все еще в деревне. Рыба не клюет совсем. Поймал пять судаков, и на этом мои подвиги кончились. Доделываю последний рассказ «Страниц» и собираюсь домой, пока по льду ходить еще можно. Охоту, говорят, нынче не откроют. А хотелось побегать по лесу с ружьишком. Я хоть весною никого и не убиваю, но наслаждаюсь лесом, волнуюсь весною. А так ведь даже понарошке с ружьем не выскочишь — защитник природы! А без ружья не умею, не интересно сие.

Как крутится бедная Наталья Федоровна? И что это на Вас за напасти ныне? Ну авось хоть к лету все на ногах будете, да на природе поправитесь. Может, в Карелию-то все же съездим? Привет Юре и Аннете. Толю обнимаю. Курсак евойный пусть не болит. Целую тебя, дорогой. Поправляйся.

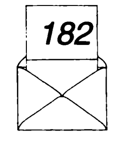
Твой Виктор



А. Макаров В. Астафьеву
6 апреля 1967 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Упрятали меня таки в лечебницу. И вот уже неделю все исследуют, но пока ничего, кроме «ужасного» колита не нашли. Но найдут, они такие дотошные. Лежу я в Боткинской, все-таки в том самом VII А, что здесь, кажется, высший класс. Во всех палатах одни начальники отделов министерств да министры и замы республик — все лица важные и в годах. Мне повезло. В нашей палате всего трое — один зам. министра сельского хозяйства Мордовской АССР — чудесный, милый тихий человек, он болен, видимо, серьезно, его уже и оперировали, но держится он молодцом, хотя... Читает Гроссмана «Достоевского» и вечерами беседует об эрозии почв и сельхозбедах. Второй — старый мой приятель Сергей Наровчатов — этот погрузился в Льва Толстого и поедает за «Войной и миром» «Анну Каренину». И, естественно, удивляется. Я уж ему говорю, вот напишу в мемуарах, как лежал вместе с неким поэтом, а он впервые читал Толстого. Сам же я все еще завален рукописями, которые не успел прочитать, и они залежались месяца два (а все Вы виноваты), и теперь читаю огромнейший том воспоминаний о Маршаке. Пока прочел страниц 200 — это $^1/_4$ — воспоминания всяких двоюродных-четвероюродных сестер и каких-то пенсионеров, которые когда-то в 1913 г. однажды видели Маршака. Бог знает что, о Маршаке два-три общих абзаца, и справка, как и когда встречались, а о себе страниц



10, а то и больше, кем тогда был(а) — краскомом или гимназисткой, с кем вместе воевал или какие преподаватели были в гимназии.

Прерывал писание, поскольку таскали еще на обследование и опять ничего пока не нашли. Ей богу, врачи похожи на критиков, о коих Твардовский писал:

Что мне критик, умник тот,
Что читает без улыбки,
Ищет нет ли где ошибки,
Горе, если не найдет.

Но это я зря — все же здесь я чувствую себя малость лучше. И надеюсь, что к Вашему приезду в апреле буду на свободе.

Вторую часть статьи из «Знамени» еще не получил, судьбы ее не знаю, волнуюсь, а по ночам просыпаюсь в холодном поту, вспоминая, что-то не так и не то — нет, не по поводу их мнения, а самому кажется, что что-то не договорил, не те слова нашел. Вот Вы пишете, что перед переизданиями все перелопачиваете, а у меня это как-то не выходит, а ведь, наверное, надо бы уж уметь.

Размеренный порядок, установленный здесь, волей-неволей приучает к какой-то растительной жизни, ни о чем путем не думается, ни одной гениальной мысли в голову не приходит, и слухи никакие не доносятся извне, разве что узнаешь, что вот Роберт Рождественский до того заездился по заграницам, что попал к Ганнушкину — у него мания преследования (очень жалко мужика, он хороший, хотя

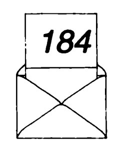
как поэта я его не особенно люблю, рационалистичен он), да Римма Казакова и ее супруг Радов в ресторане избили кого-то (вот кого не знаю), который принялся их разнимать, и теперь жена избитого на них в суд подает. Не везет братьям-писателям.

Понимает ли Вы, что я скучаю о Вас, вдвойне теперь скучаю, пока писал, все Вы были рядом, а

Теперь вот, когда бумаге
Вверяю я грусть моих слов,
Вы с мельником, может, на тяге
Подслушиваете тетеревов...

...Черта лысого! Оказывается, Вы не тетеревов подслушиваете, а пишете «критических статей». Только что пришла Наташа и принесла «Комсомолку» с Вашим «Добрым словом». Эту статью я воспринял как укор себе — вот, мол, пока Вы там кундепаете свои статейки... Хорошая у Вас статья, и очень пожалел я, что не знал ни Якубовского, ни повестей его. Почему, ну это вы поймете, если появится моя статья. А статья у Вас хорошая, сразу узнаешь Астафьева с его верой, с его убеждениями. А про чернолесье это очень здорово, неужели правда, что это слово стали переносить на хвойные леса — мне как-то не попадалось.

Погода у нас какая-то дрозглая, сырая, то серый снег повалит, то дождь пойдет. Да и у Вас, наверное, не лучше. Кончилась весна света, пошла весна воды. А все-таки она — весна... И все-таки скоро можно будет ловить рыбу. Зимой-то так и не пришлось, и я



завидовал и Вам, и Вашим ершам, и утешался тем, что Ваш потомок все же обставил Вас по этой части.

А все же скучновато здесь и главная беда — голова какая-то на холостом ходу. А посему кончаю. Не забывайте.

Кланяйтесь Марии Семеновне и всем потомкам. Обнимаю вас.

Ваш А. Макаров

*А. Макаров В. Астафьеву**
После 6 апреля 1967 г.

Дорогой Виктор Петрович!

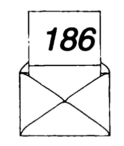
Пишу, как видите, вдогонку за предыдущим письмом, потому что была в Вашем письме фраза, которая очень меня зацепила. Я постарался скользнуть по ней глазами и как бы пренебречь ею, однако вот два дня только об этом и думаю. Это та, где Вы пишете, что боитесь, что статья может нас «развести».

А я, думаете, не боюсь? Еще как! Случаи такие на моем веку бывали. Я не о тех говорю, кто, так сказать, на тебя рассчитывает, а потом, как напишешь, так уж для него и не существуешь, а про очень даже умных людей.

Так вот было у меня с Твардовским. Очень он ко

* Печатается по книге В. Астафьева «Зрячий посох» (М., 1988).

мне как-то расположился, тогда я только задумывал о «Теркине» писать, и вроде бы мы нашли взаимопонимание. А потом, чем дальше, тем больше расходились — сильный и властный он человек и не мог перенести, что не тютелька в тютельку, как он, думаю, и когда напечатал я «Прозу поэта», где от души восторгался его прозой, через два дня в «Известиях» появилась статья Андрюши Туркова, где тот упрекал меня, что якобы я говорю какие-то двусмысленности. А никаких двусмысленностей там не было, а очень явно говорилось, что Александр Трифонович бывает не всегда искренен, вернее, что вот то, что он почувствовал на родном пепелище — желание воссоздать этот ушедший мир, — и есть его подлинное желание. Или что-то в этом роде, я уже и не помню. И с Межелайтисом тоже — пока писал книжку, была оживленная, хотя и редкая переписка, откровенные разговоры о литературе, а вышла книжка — новогоднее поздравление, где в конце приписка, мол, читаю Вашу книжку, благодарен. Один только человек, что бы там ни писал, всегда сохранял ровное ко мне отношение — Симонов, и ни на йоту его не изменил. Умен Костя, гораздо умнее даже, чем о нем думают. Только ведь ни один из них, и даже Костя — однокашник по институту, не был для меня тем, чем стали Вы. Мой старый учитель, правоверный приспособленец Бровман, сказал мне однажды: «Вы живете правильно, одиноко. Ни с кем особой дружбы не ведете, так и должен жить критик». Знал бы он, чего мне стоит эта одинокость, вернее, ничего она мне не стоила, потому что никакой охоты заводить



дружбу среди литературных людей, равно высоких и малых, у меня ни разу не возникало. Как у того эстонца или финна, который до десяти лет слова не вымолвил и немым в семье почитался, пока на сенокосе матери не сказал: «Что же, так твою мать, воду-то не похолодила?» И на изумленный вопрос: «Что же ты раньше молчал, десять лет!» — ответил: «Потребности не было». Вот и у меня — потребности не было в литературных друзьях. Это ведь не объяснишь, почему к одному человеку всей душой и сказать ему о себе можешь все. Чего и жене не скажешь, хотя и не обязательно говорить, но знаешь, что есть человек, которому все можно сказать, и хорошо тебе, что он существует на свете. Только ведь редко встречается такой человек. И не статья меня пугает. Кабы Вы только один ее прочли! Ну сказали, тут ты, мол, врешь, не то, что думаешь, пишешь, а это вообще ерунда, может быть, даже где-то воскликнули: «Продает, стервец! На ходу продает!» и т. п. Но ведь ее и другие прочтут. Один скажет: «Что это о тебе так Макаров пишет, ты ему не верь». Другой: «Что уж это он так тебя расхваливает, на два номера разогнался!» Третий: «Ну ты теперь кум королю и брат валету! Вон уже о тебе какие длинные статьи пишут!»

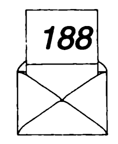
И вот тут-то и возьмет Вас чёмер, и скажете Вы про себя: «Черт бы побрал этого Макарова со своей статьей! Лучше бы ему не родиться, а мне с ним не знаться. Толку от его статьи ноль, а я только и отвечай — что, как и почему». И озлитесь Вы на меня злостью самой неприязненной. Вот чего я боюсь — разговоров вокруг да около. А Вы думали, не пони-

мал я этого? Чутки уж очень Вы, родной мой, и сразу почувствовали, чем грозит нашим отношениям такая вот статья, как бы друг от друга глаза отводить не стали, любезно при этом друг другу руки пожимая и улыбаясь. А Вы думаете, не хотелось бы мне бросить треклятую эту статью на половине, не подсказывало мне что-то: берегись, мол, сам понимаешь — слишком дорогое на карту ставишь. Только не мог я этого сделать, и не потому, что Вы бы потом сказали — вот сволочь, натрепался, а сам хоть бы хны, и опять некоторая неловкость возникла. Это-то я бы сумел Вам объяснить, и Вы бы поняли, а потому не мог бросить то, что меня уж повело, и есть в нас что-то, что нашим желаниям не покоряется и водит рукой помимо воли. Я ведь поэтому и начать долго не мог, и начал даже старой статьей, цитатой из нее.

Но Вам, в конце концов, что? Ну с месяц посердитесь, а потом и забудется. У Вас вот хоть Евг. Носов есть, да еще кинорежиссер какой-то. А вот мне каково. Были люди, которые мне были дороги, да уходили, жизнь разводила, да и нет уж их на свете.

В юности, пока в Москве жил, был у меня друг на год моложе меня, и очень дорог он мне был, да пришлось мне уехать из Москвы в деревню, а когда вернулся в институт, он по дурости в 19 лет женился, у него уже ребенок был, да и сами знаете, никто так не разбивает людей, как молодая жена, которая ко всему прошлому ревнует отчаянно. И пришлось махнуть рукой на эту дружбу. Потом его убили на войне.

Был и в деревне золотой парень, только тут нас



жизнь развела, и хоть он жил последние годы в Москве, но с семьей, на войне стал инвалидом, да и дороги-то наши уж очень разошлись, кроме как о прежнем и поговорить было не о чем, я вроде писатель, а он — сторож, вахтер. Только очень он мной гордился, и тепло его все ж меня грело. Да сгорел он спьяну, в той самой сушилке, которую сторожил.

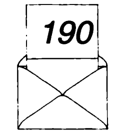
В институте тоже завязалась хорошая дружба с поэтом Б. Лебедевым, уже покойным. Правда, чего-то в ней все же не хватало, она больше интеллектуальной была, но и тут я в армию уходил, он уже был безнадежно болен чахоткой, как всякий человек, знающий и не желающий понимать, был уже чуть-чуть не от мира сего. И этот умер. А последний, по годам-то вроде и неровня мне, погиб вот в той аварии, про которую Вы от меня слушали, в 57-м году. С его уходом для меня как-то все померкло, цвета, запахи, звуки, и природу я стал видеть как-то общецветно, как в кино. Лет восемь, должно быть, прошло, пока я опять стал видеть и слышать. Спасла меня работа, я тогда за год целую книжку накатал, да еще больше, пожалуй. После него мальчишка остался и очень почему-то ко мне привязался, я его по всем местам свозил, куда с его отцом ездил, — и на Кавказ, и в Крым, и даже снимал там, где, бывало, с его отцом снимались, чудил, словом. Только вырос теперь этот мальчишка, ему уже двадцать лет, и своя у него жизнь.

И вдруг свалилось на меня это наше заочное сначала знакомство, как говорится, бог послал. И вот за каким-то дьяволом дернуло меня самого мину

под него подложить. Ну что ж, как говорится, сапер один раз в жизни ошибается, и это уж в последний. Взорвется аль нет? Вообще-то жизнь сделала меня фаталистом, и полагаю я, что в испытаниях нам, грешным, уж ничего не остается, как положиться на волю божью. Тургенев вон девизом жизненным избрал французскую поговорку, приблизительно означающую «Пусть идет, как идет». Теперь уж не остановишь.

А сны мне тоже все деловые снятся. Только еще более страшные. Вам вот Ася Берзер приснилась, а мне несколько дней назад моя редакторша Малхазова — пришла и говорит: «И зачем мы с Вами эту книжку выпускали (не ту, что теперь, а «Серьезную жизнь»), все равно ее никто не покупает». И проснулся я в холодном поту, тем более что наяву никак не идет моя Малхазова, и верстка прочитанная на тумбочке у меня валяется, то ли ее корректора читают, то ли цензор обдумывает, а пока все ее порчу, нет-нет, да что-то, что кажется крамольным, вычеркну, а крамольным теперь уж и самое безвинное кажется. А позавчера приснились Брежнев и Косыгин, будто присутствуют они на каком-то партсобрании у нас, в «Знамени», и Косыгин речь произнес. Я говорю кому-то: «Вот видите, Косыгин сказал, что можно». А что он говорил и что можно — этого и не помню.

А вчера уж совсем страшный сон привиделся, будто обвиняют меня, что я приписал себе высшее образование, а документа на это нету. Документа у меня и в самом деле нет. Нам выдавали вместо диплома в красных рамках удостоверение за подписью



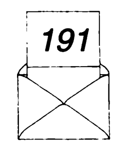
Ставского. Многие потом их обменяли на стандартные дипломы, такой я у Чаковского видел, а мне и менять-то было нечего. Еще до войны, когда я был в армии, Наташа, думая перетащить меня из-под ружья в газету, в Москву, отнесла мой диплом тов. Дедюхину, он в ПУРе тогда комсомолом ведал, все обещал найти, уж когда я из армии вернулся, а тут война началась и уж какие там Дедюхины. Так и живу без диплома, благо все здесь знают, что был он с отличием, тогда нас только пять с отличием экзамены сдали и вообще на круглые пятерки четыре года тянули: Симонов, Бор. Лебедев, В. Высоцкая, Н. Верейская да я. И всех это наше подвижничество удивляло, хотя не знаю, как дамам, но мне, Борису и Косте оно както без труда давалось. И в жизни у меня никто этого диплома-удостоверения не спрашивал, а вот во сне как с ножом к горлу пристали какие-то чудища. Вот тут я проснулся в пять тридцать. Смотрю, храпят кругом, вылез потихоньку в столовую и стал писать Вам вот это письмо. Глядишь, время и к завтраку подошло.

Обнимаю и целую Вас, пока это еще возможно.

Марии Семеновне целую ее руки, натруженные домашней работой и перепиской мужниных сочинений (своя же ноша, как известно, не тянет).

Привет домашним.

Ваш А. Макаров

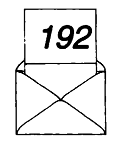


*А. Макаров В. Астафьеву**
Конец апреля 1967 г.

Дорогой Виктор Петрович! Родной Вы мой!

Спасибо за доброе письмо. Я, кажется, помаленьку налаживаюсь. Но спасают, думается, не столько врачи, сколько работа: свалилась на меня тут в больнице верстка книжки, проверка цитат во второй половине статьи о Вас и, наконец, за два дня до сдачи в набор, самоё статья с замечаниями мудрой Л. И. Скорино. Но как раз к сегодняшнему дню я от всего отделался. Даже от внутренних рецензий, которые задерживал для «Совписа». Теперь трепещу. Редактор с версткой книги еще не приходила, и кто знает, что она там подумает в связи с указаниями свыше. Статья же должна появиться в двух номерах — майском и июньском. Говорю — должна, потому что до тех пор, пока не увижу журнала в киоске, обычно не верю, что все благополучно. Статья получилась большая, с разными выводами и отступлениями, и я не думаю, что в ней Вам все понравится. Мне и самому далеко не все нравится, и кое-что писал с оглядкой на юбилейный год, стараясь, чтобы лик Ваш был достойно светел, и обходя острые углы. А Людмила Ивановна мне в этом всемерно помогала, вычеркивая и снимая слишком острые цитаты. «Что это значит? — спрашивала она меня (т. е. С. А. Дмитриева — зава критикой): «Это он (Толя)

* Печатается по книге В. Астафьева «Зрячий посох» (М., 1988).



понял на своих боках в милиции». Его что, там били?» — «Да», — уныло подтверждал Муля. «Так зачем же нам об этом писать? Достаточно чтобы об этом писатель написал».

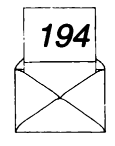
Словом, правка шла за счет снятия всяких неприличностей, какие Вы в своих писаниях допускаете. В конце же она потребовала, чтобы я раскрыл Вам «духовные очи» и указал цель и путь. Что я, по своему разумению и учитывая обстоятельства, и выполнил. Получилось что-то вроде того, чего требовала от Вас и оппонент Ваша в «Урале» по поводу статьи «Алмазы», только, разумеется, чуть тоньше.

Но вот что я и в самом деле подумал, когда присочинил конец. Хотите Вы или не хотите, но путь Ваш пролегает в направлении современного сегодняшнего романа, и Вы очень нужны. Когда-то Вы отгрохали роман, не будучи еще писателем, а теперь самая пора. Я понимаю, что легче всего, может быть, сказать «правду о войне», которой никто не говорил, только кому эта правда нужна сейчас, будущая война вряд ли будет на нее похожа. Это не относится к «Пастуху и пастушке». Я говорю не о ясной уже близи, а о далях Ваших.

А современный роман, где бы действовали люди разных поколений, и старушки, и Ваше, и молодежь, ой как нужен. Мы же все время жизнь берем в створе того или иного поколения... А нужен роман, где бы о молодежи писал человек с опытом. Вспомните, как менялись поколения в романах Достоевского, ведь он и Алешу Карамазова, и «Подростка» стариком почти писал. И Базарова подметил

не кто иной, а человек сороковых годов Тургенев.

Но я, кажется, начинаю пересказывать конец собственной статьи. И меня, ей богу, не страшит, что Вам в ней понравится али заденет; чего бы я в ней ни говорил, мне думается, каждый поймет, что я Вас очень люблю. И очень хочу, чтобы Вы стали большим и замечательным. На статью-то в том отношении я никаких надежд не возлагаю, ну прочтут, увидят, что я Вас прочитал, но ведь даже Вас-то прочесть не могут, настолько Вы как писатель рассыпаны по разным изданиям. Но это ужасно, и в этом отчасти «Молодая гвардия» виновата. Вам надо, надо уходить, и не в «Сов. Россию», а в «Совпис», где есть умные редактора, вроде Верочки Острогорской либо Лины Ивановой, Льва Левина, которые и с Лесючевским могут сразиться — сцепиться при необходимости, не то что Ваши молодогвардейские мальчики, трепещущие перед свои начальством. В люди-то Вы вышли, а Вам на люди выходить нужно, и вряд ли «Молодая гвардия» Вам поможет в этом. Чем дальше Вы отходите от «Перевала», тем меньше становитесь их автором. Дело ведь не в возрасте героев. Мне даже думается, что и в романе своем, который я так ясно вижу, как будто Вы его написали, должны быть главные герои — молодые современники. Ведь Вы же их хорошо знаете. У Вас в собственном доме целая троица, и тема отцов и детей должна быть поставлена, только не так односторонне, как ее ставят наши «молодые». Вы же нашли свою интонацию — рассказ от первого лица, и ее не надо бояться. До-



стоевский вон все романы от первого лица писал. А кто это замечает? Но это давало ему своего рода свободу, объективность освещения, что ли.

Видимо, с апрельской поездкой у Вас тоже разладилось. Я все ждал, что Вы приедете, а Вы еще по льду реку собираетесь переходить. А у нас и лед давно прошел.

Через неделю-полторы я надеюсь из больницы выбраться. Лечащий врач на меня смотрит одобрительно. А к профессорам и консультантам, слава богу, меня здесь не таскали — так, вливают в вену глюкозу с витамином да рыбий жир впускают с другого конца. Вот и все лечение. Ну еще порошки какие-то дают.

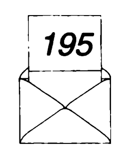
Толя лежит в соседнем корпусе. Вижу его каждый день. Он то в веселом настроении, то впадает в меланхолию, когда ему вливают кровь. К маю его тоже, видимо, выпустят. Наташа превратилась в чиновника по особым поручениям при моей персоне, по-современному говоря, просто в курьера и совсем измучилась, бедняга, Аннета и Юра цветут.

Вот и все пока.

Низко кланяюсь Марии Семеновне. Привет всем домочадцам. И помните, Вашей лирической публицистикой, как бы я ни восторгался ею, Вы в люди не выйдете. Подумайте о чем-то большем.

Целую Вас.

Ваш А. Макаров



В. Астафьев А. Макарову
Конец апреля 1967 г.

Дорогой Александр Николаевич!

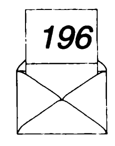
Вчера мы провернули, именно провернули! отчетно-выборное собрание, в один день, коротко и по-деловому. Я избавился от всех обязанностей, и от Литфонда, и от бюро, да еще поспособствовал смене секретаря, который протрубил у нас 8 лет и поседел от этой деятельности. По случаю избавления от должности мы крепко выпили, и вот сегодня у меня дрожат руки, ноет печень, и я ничего не могу писать, кроме эпистолярных произведений, к чему и прибегаю, дабы морально чувствовать себя в тарелке да и на письмо на Ваше, тьфу ты! на твое, мне захотелось ответить поскорее, и книжку Якубовского послать, бо их у меня две — одну прислали из издательства «Сов. Россия» на предмет рецензии на переиздание и одну презентовал мне автор.

Значит, в фешенебельной больнице?! Больницы даже фешенебельные — это все равно больницы и избави от них бог. Может, уже дома? Хорошо бы. А я все жду редактора. Пришла из «Молодой» телеграмма: «Рукопись задержалась чтением главной редакции (третий раз читают!) днями Токарев к вам выезжает».

Пока жду.

Чуть я не попал в Москву.

Из ЦК ВЛКСМ пришел вызов на актив журнала «Молодая гвардия», но числа совпали с нашим собранием и поездка не состоялась. Однако мы все равно скоро увидимся. Читательские конференции —



три, в библиотеке им. Лавренева, им. Володарского и на каком-то заводе назначены на 15 мая (начало), с тем, чтобы я уже и на съезд остался. Когда он будет, не слыхал?

Приедем мы вместе со старухой, если она будет в форме. Тут у нее прихватило сердце, и лежала она, бедняга, несколько дней, а лежать ей — это все равно, что спринтеру, всю жизнь бегающему, утерять сандалию и упасть на дистанции.

Поднялась уже, копается в доме, подержится, подержится за ретивое и опять гремит хозяйством. Я ворчу на нее, чтобы ложилась, но вижу. что когда лежит, совсем она несчастная, и настаивать или нет на лежании — не знаю. С женами обращаться — дело научное и, как вижу, на всю жизнь — непосильное.

Рыбалка моя, как видно, накрылась. Насверлили мы с пенсионером-рыбаком сотню лунок и теперь людиё из них судаков вытаскивает, а я, значит, сижу и у моря погоды жду, ибо ход судака задержался и начался лишь теперь, перед вскрытием рек.

Погода всякая. В основном хорошая, но стали перепадать дождики и тучи наплывают все чаще от вас, из столицы. Грешите там, смуту в небе делаете, а мы, тихие и скромные люди, страдай тут из-за столичных невоздержанностей, хотя бы уж небо-то не баламутили, обходились бы литературой и ЦДЛ, там никакого неба нет, а фимиам табашный плавает волнами.

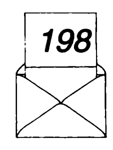
Хотя и на периферии тоже разгул пошел и касается поветрие светлых душ провинциалов. Я, как догадываюсь, вчерась пьяненький к жене прилубыкиваться зачал (к больной-то, ну не дурак ли!), и де-

ло кончилось тем, что обнаружил ее утром спящую по отдельности, на диване, а я, значит, в сиротстве. В назидание ей я рассказал историю, происшедшую между мужем и женой. Пообедал это муж (а был он у нас баснописец), плотно пообедал и, значит, жену, убирающую посуду, за холку — цап! «Побалуемся, старуха, что ли?» — «Поди ты к лешему! Мне некогда, кручусь, устала, как собака, а у тебя одно на уме!» — «Ну что же делать тогда? — задумался баснописец. — Пожалуй, к девкам идти придется». Жена, Кланя, убегла, хлопнула дверью, а через пять минут уже в халате и без штанов прибежала, легла на диван и кричит: «На! Подавись!..»

Я и говорю Мане, вот, говорю, какие жены-то сознательные и самоотверженные. Хохочет старая. А еще этот баснописец (покойный уже, к сожалению) очень обаятельный и талантливый мужик, погубленный провинцией и из-за провинции так и не сделавшийся настоящим поэтом, болел туберкулезом и часто подолгу лежал в больницах. Там он сочинял притчи про всех и про все. Многие и сейчас живы, и мы их читаем в мужской компании... Так вот, в больнице сестра, тоже Клава, однажды Афоне и говорит: «Что-то Вы, Афанасий Лазаревич, про всех сочиняете, а про меня дак нет». — «Обидишься ведь, если сочиню?» — «Ну уж обижусь! Я — понятливая...»

И Афоня сочинил про Клаву стих нижеследующего содержания:

В палату каждый день, с утра,
Приходит Клава — медсестра.



Больного жмет она в углу
И тычет в задницу иглу.
Вливает грамм стрептомицина
Ну х..и сделашь? Медицина!

Афоню выгнали не только из палаты, но и из диспансера за этот стих. Он с горя напился и свалился в канаву. Его забрали в вытрезвитель, а как раз шла облава на писателей в связи с прегрешениями министра культуры. Афоню выгнать можно только из одного места, из партии. Зацапали его, голубчика, и на бюро. Беспартийные массы и я среди них сидят в Союзе и переживают за Афоню. Вышел Афоня грустный-прегрустный. Мы к нему, а он поднял глаза и хриплым своим печальным голосом пропел:

Нас бьют, работников культуры,
Всыпают крепко м...кам!!
За то, что сам министр культуры
Ходил по тайным бардакам.

Помер наш Афоня всеми брошенный, забытый, а сейчас вот его как-то не хватает, чего-то выпало из жизни, а мы и не заметили в суете, как его прозевали, и виноватимся теперь в душе перед ним. А что пользы от этого? Как там у Ахматовой или у Тушновой? «И все цветы, живые, не из жести, придите и отдайте мне теперь».

А мы уж очень щедры бываем на цветы из жести...

Впрочем, хватит на эту тему. Я ведь веселое тебе письмо хотел написать, чтобы повеселить маленько и взбодрить хоть чуть-чуть.

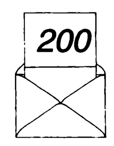
Естественно, что эти дни не работал, в чем раскаиваюсь, но завтра уже начну, думаю, что начну. Обнимаю тебя, дорогой. Не хворай! Не хворайте! Толю, Наталью Федоровну, Аннету, Юру и барбоса тоже обнимаю.

Ваш Виктор. Старуха кланяется.

А. Макаров В. Астафьеву
25 апреля 1967 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Твое озорное письмо меня совсем было развеселило. Читал его в саду, куда меня уже выпускают гулять. Иду назад, а встречу Нилин, мрачный еще больше, чем всегда, на филина похож, буркает: «Комаров накрылся». Я сначала не поверил, оказалось, в самом деле, и почему-то такая тоска взяла, жалко человека, из-за какой-то мелочи и вот... Ну уж о резонансе не говорю, бог с ним, с резонансом. А вообще-то не везет нам. Румыны — стервы и югославы тоже. Никак не удается нам добиться сплочения. В общем целый вечер бродил по коридору и был не в своей тарелке. Толя, который все знает, забежал из соседнего корпуса и объявил, что он еще раньше всех знал, у них в палате будто бы лежит какой-то дядя, связанный с этими делами, и во время полета все радовался, мол, и я премию отхвачу. И вдруг ему позвонили по телефону друзья, вернулся в палату, схватился руками за голову — погиб Комаров, что-то нам теперь будет. Уж не знаю, какое он там участие принимал, Толя-то попал в этот корпус благо-



даря Наташиным хлопотам, и лежат с ним все какие-то инженеры, люди дела, а меня здесь окружают одни чиновники — начальники, про кого мой сосед, замминистра сельского хозяйства Мордовии, сказал — все мы здесь шаромыжники и зря народный хлеб едим. Хороший мужик он, и пролежал я с ним бок о бок месяц, да вот вчера выписался и не на жизнь, а, видимо, на смерть, резали его и зашили — рак печени, как говорят. А мужику всего 45 лет, душевный парень, никак не пойму как он в замминистры угодил. Жена у него, трое парней — один институт кончает, другой — на первом курсе, третьему 14 лет — вот все о пенсии волновался — дадут, мол, 60 руб., что делать. Болело у него, видать, крепко и зуд мучил. Но хоть бы раз пожаловался, так улыбнется грустно и все.

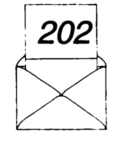
А я вот пока еще здесь и ведь разве узнаешь у врачей правду, но поскольку не резали меня и на выписку предназначили, видимо, еще поживу маненько. Врач решила выписать в субботу, но я упросил на пятницу — мне, говорю, еще говеть и исповедаться нужно, а в Пасху попы не исповедуют, не могу же в грехах остаться. Уговорил. Но только гонят меня в санаторий, видимо, в Малеевку, после праздников, я сказал — не больше, чем две недели, и с 5-го обещали, но и то я вернусь в Москву лишь 16-го, а у тебя первая конференция 15-го. Сегодня Наташа узнает в Бюро, на какие числа твои встречи, очень мне хотелось бы на них быть. Вот так-то, дорогой мой Виктор Петрович.

Вылечили ли меня? Подлечили, да, но все же балует мое чрево, урчит и поет на разные голоса. Ну

да бог с ним, лишь бы отсюда вырваться. Вот ты говоришь, редактор не едет, я тоже весь издергался, у меня рядом, да нейдет, верстка валяется ровно три недели, я думал, они хоть цензору сразу дали, не тут-то было, там три полосы не так оттиснули, так вместо того чтобы за три-то недели из Тулы эти три страницы потребовать, редакторша сама еле-еле прочитала, сегодня вечером обещала прийти. Значит, пойдет на сверку, а потом лишь к цензору, а там он что-нибудь накундепает, и новые волнения, и еще одна сверка. Боюсь за статью о Симонове — много там про культ, а теперь это слово чуть не запретным стало. Только что вышли «Солдатами не рождаются» с моим послесловием, и Симонов мне прислал экземпляр с надписью: «Милый Саша, спасибо тебе, что помогаешь мне так писать, постараюсь писать так и дальше. Мне очень важно то, что ты сказал, особенно теперь». Вот это «особенно теперь» меня и пугает. А ведь в книжке статья-то хоть и поразвернутее, а все на тот же лад... И вся задержка по лености редакторши...

Ну вот все и выяснилось. Конференции 15-го и 16-го в библиотеках Лавренева и Володарского и еще авторское выступление на заводе. Я уже позвонил в Бюро, что буду и 15-го, и 16-го, и в Литфонд сообщил, что поеду в Малеевку не с 5-го, а с 4-го, если еще вообще меня туда пустят. А нет, черт с ними, уеду на десять дней в Тарусу.

Прочел альманах «Литературная Литва». Там рассказ К. Воробьева о детстве. Хороший рассказ, написан хорошо, но так, как будто его Астафьев пи-



сал. Знаю, что тебе этот писатель нравится, и пишет он действительно хорошо, и все же, вспоминая его книжку и вот этот рассказ, я как-то никак не уловлю, где он сам свой. Пожалуй, все же в той повести о батальоне, погибшем под Москвой.

Ну вот, дорогой мой Виктор Петрович, в письмах-то мы перешли на ты, а как это при встрече получится?!

Очень я сочувствую Марии Семеновне, желаю ей поскорее окончательно от хвори избавиться и за мужем следить в оба глаза. А то вишь разгулялся — от всего освободился: и от Литфонда, и от секретарства отбрыкался, так ведь и просчитаться можно; ныне должности печататься и жить помогают. Разве не так?! И к тому же нализался. Родной мой, а не пора ли перестать свой талант по ветру пускать? Уж больно русский характер. Ты скажешь, я это потому пишу, что самому пить не дают. Эх, если бы ты знал, как жаль мне тех разделяющих нас лет, из которых добрых десять я тоже попивать любил. Спохватишься, ан поздно... Ну-ну, не буду морали читать, лучше еще раз твое письмо перечитаю. Так-то.

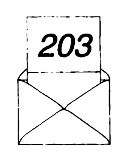
Обнимаю

Привет потомкам. Очень рады будем видеть Марию Семеновну в Москве.

Наташа, Толя, Аннета и Юра кланяются

Твой А. Макаров

Да, забыл и с праздниками-то поздравить — сразу с двумя — со Светлым Христовым Воскресением и Первым Маем

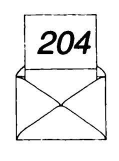


В. Астафьев А. Макарову
25 апреля 1967 г.

Дорогой Александр Николаевич!

Только я Вам отправил письмо с книжкой Якубовского, как со мной приключилась оказия, чем-то отравил и без того гнилой желудок, и взяло меня! Печень и сердце, и вся механизма, уделанная войной, как заголосила, а я вместе с нею. Несколько дней было тяжело, и сегодня впервые берусь за ручку. За это время разом пришло от Вас два письма и статья моя в «Литературке». Черти драные, как умеют править! Так обкатали, что от моего гонора и следа не осталось, и острых углов как не бывало! Я думал, они по-благородному поступят, хоть гранки пришлют. И я бы сумел там кое-что подладить. Ничего не прислали — тиснули и никаких гвоздей. Я Вам потом покажу статью в доподлинном виде, и Вы еще раз убедитесь, как осторожен Ваш родной «орган» печати.

Погода у нас стоит прекрасная, 22-24 тепла. И в такую-то погоду погиб такой человек! Мне этого русака Комарова жаль, как родного брата. Люди эти воистину герои и труженики. И вот... Начало! Сколько еще их кокнется, пока они освоят пространство! И никак у меня не хватает ума объяснить себе эту проклятую «логику» жизни, что такие хорошие, нужные люди гибнут, а дрянь какая-нибудь, которая родилась затем только, чтобы отравлять людям жизнь, портить воздух, — здравствует, процветает, ходит по земле с ножами, кастетами и вредными намерениями. Сколько лет, с самой войны об



этом думаю и ничегошеньки растолковать себе не могу. Несправедливость, наверное, самое необъяснимое в жизни, отклонение от нее.

Читаю Ричарда Олдингтона. Впервые читаю. Очень хороший и честный писатель. Его взгляды на войну полностью совпадают с моими. Разница лишь в том, что он может позволить говорить и писать, и думать, что ему захочется, а я вынужден буду в самом главном изворачиваться, объяснять, маскироваться и ловчить, чтобы высказать те же самые мысли, ибо войны в сущности своей похожи друг на дружку. На них убивают людей! Все остальное не главное и пустяк по сравнению с этим.

Мечтаю на праздник убраться в деревню. Но не знаю, сойдет ли к этой поре лед с моря, а пешком мне не уйти, ослаб от хвори. В деревне я бы быстро поправился. Там все исцеляет — и весна, и воздух.

В «Молодую» послал телеграмму с предупреждением, что если они в ближайшее время не решат судьбу книги, я передам ее в другое издательство. Да, конечно, с этим младым, но ранним издательством я больше не свяжусь. Буду тыкаться в «Сов. писатель», хотя знаю, что и там тоже меня никто с распростертыми объятиями не встречает, и там кровь умеют пить. Меньше всего пьют крови в местных издательствах, но это значит — махнуть рукой на все, в том числе и на себя, да и примириться с ролью местного писателя, которому ничего не хочется, кроме как добывать пером хлебушко какой-нито. Но скоро придется и в местное идти. Надеясь

на центральные, я вовсе остался без денег. Живу сейчас на аванс, выданный «Совписом» под книжку будущего года. Тоже не сахар.

Принципы пока не кормят! Беспринципность же идет ходко на лит. базаре.

Из больницы-то вышли или нет еще? Поскольку соберусь или нет писать до праздника — не знаю, так с весною всех! Цветенья всем и здоровья, да радости хоть маленько!

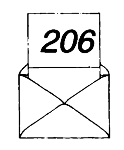
Всех вас обнимаю — Ваш Виктор

А. Макаров В. Астафьеву
26 апреля 1967 г. *

Дорогой Виктор Петрович!

Я как всегда забыл самое существенное, за что Наташа меня ругательски ругала. Вы же с Марией Семеновной можете остановиться у нас. Если вас это не устроит, то хоть с вокзала-то ехать к нам. А потом уж искать что-либо более для вас удобное. Нас ведь до 15-го не будет, дома будет Толя и ребята, у которых есть всегда свой угол. Мы, видимо, вернемся 15-го днем, и все равно часам к 5-6 тебе надо приехать ко мне, и машина приедет за нами, чтобы везти нас на муки в библиотеку Лавренева. Нужно только, чтобы вы заранее написали, какого числа приедете и в какие часы, чтобы кто-нибудь

* Письмо послано вслед за письмом от 25 апреля.



дома был и вас дождался. В крайнем случае у соседей над нами будет оставлен ключ, который отпирает, лишь нажмешь чуть от себя (как английский замок). Карай тебя знает и не удивится. Но постараемся устроить так, чтобы кто-то, Аннета или Юра, были дома, если Толя будет работать. И если вы приедете числа 13-го или 14-го, то лучше всего остановиться у нас, а там как захотите. Кто его знает, как там будет со всякими гостиницами. К тому же Наташа очень соскучилась по Марии Семеновне.

Значит, напиши, когда ждать.

Твой А. Макаров

А. Макаров В. Астафьеву
*2 мая 1967 г.**

Дорогой Виктор Петрович!

Вот видите, до чего доводит пианство, и печенка, и селезенка, и все нутро протестует. Вот будете в Москве, обязательно разыщу письмо Чехова брату Николаю, где он говорит, что человек обязан уважать свой талант, и буду читать вслух Вам в назидание. Все-то мы думаем, что молоденькие, ан раны наши нет-нет да и заговорят, и не только к дурной погоде, а и по поводу. Да и только ли физические! Я понимаю, что очень Вам трудно, только сами Вы мало себе помогаете, гордость заела, а в наше время

---

* Письмо написано в ответ на письмо В. Астафьева от 25 апреля.

не гордость нужна, а пробойная сила. Впрочем, только ли в наше. Вот вспомнился диалог из «Леса» Островского (я его наизусть помню — не «Лес», а диалог) старого лакея и юного Буланова:

Карп. Ах, барин, барин, молоды Вы очень.

Буланов. Сам знаю, что молод, я вон и гимназии еще не кончил...

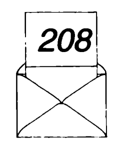
Карп. Другие и гимназий не кончали, а какие ловкие...

Буланов. Да на что ловкие-то?

Карп. А на все... А особливо на то, что мимо рук плывет.

Вот так-то, мой друг. Другие вон свои рукописи в два-три издательства одновременно тащат и ждут, где скорее клюнет. Ну да об этом мы поговорим по приезде. А то Вы все спасаетесь тем, что бежите «в обитель дальнюю трудов и чистых нег», а Вам спасаться рано, надо сперва стену лбом прошибить. Да не лиственничную, а белокаменную. А потом уж и в скиты уходить или «махнем, мой друг, в шатры с тобой к цыганам, там не умеют долго горевать». Это уж в зависимости от охоты. Да и цыгане-то теперь где, все в той же белокаменной, в театре «Ромэн» резвятся.

Из больницы я выбрался в пятницу, а в субботу была верстка второй половины статьи, так что Пасху и Первое я вроде бы с Вами провел. Да и вообще у меня такое ощущение, что я живу в Перми, то по телевизору показывают Пермский оперный, то состязание пермяков с Московским медицинским на



КВН, то вот сегодня пермское хореографическое училище. Открываю сегодня том Добролюбова — и на тебе, и тот открывается на рецензии, которая называется «Пермский сборник». Раньше я как-то не замечал этих пермяков, знал только, что бабушка звала Горького «пермяк — солены уши», и этим мое образование ограничивалось.

Чувствую себя вроде ничего, правда, после больницы дня два не мог привыкнуть к дому ни в бытовом, ни в физиологическом отношении, а теперь вроде наладилось. Завтра уезжаем с Наташей в Малеевку, вернемся пятнадцатого днем, машина за нами на конференцию приедет в 5.30. Наташа узнала, что Вы заказывали гостиницу с 14-го, и что-то там говорила, что, может быть, с 17-го, ей уж очень хочется, чтобы Вы и при нас у нас денька два побыли, а до нас-то и бог велел. Но «устроительница» сказала, что она с Вами еще будет разговаривать и договорится. Если дома никого у нас не окажется, ключ будет оставлен под дверью, и в любое время дня и ночи располагайтесь в кабинете, как у себя. Ей богу, он не хуже гостиничного номера, хотя и захламлен книгами.

Да, что вы читаете Олдингтона — «Смерть героя», «Вражду», «Сущий рай» или «Дочь полковника»? Господи, до чего же я старый — все это еще до войны читал и от «Вражды» словно очумелый ходил и все мечтал об острове Эа. Только после нашей войны никаких островов Эа не осталось, из чего логически можно заключить, что после третьей мировой... Ну да ладно, не буду. А действительно, заме-

чательный человек и писатель. Он ведь у нас побывал года 3,5 назад, да тут же, воротясь в Швейцарию, и помер. Очень, очень интересно, что Астафьев как мастер эпистолярного жанра расходится с Астафьевым-прозаиком — в письмах пишет — ах, почему хорошие люди мрут, а подлецы живут, а в повестях пишет, что ни один-де подлец безнаказанным не остается. Где же мы с Вами лицемерим, дорогой мой Виктор Петрович?! Ну ладно, не буду дразниться, из Санькиного возраста я вышел давным-давно, а распрыгался потому, что на свободе после месячной изоляции себя почувствовал.

Кланяйтесь Марии Семеновне и потомкам.

Обнимаю Вас.

Ваш А. Макаров

В. Астафьев А. Макарову
Конец мая 1967 г.

Дорогой Александр Николаевич!

Добрались до дому. Живем. Я пока в деревню не уехал, а хочется. Что-то послесъездовские грусти не проходят. Даже больше того, чем я больше вдумываюсь в то, что произошло на этом сборище лицемерия, лжи и самопредательства, тем гнуснее на душе делается.

Завтра идти в обком на беседу, докладать. А что? Мне и говорить-то сейчас ни с кем не хочется. Одна мечта — забраться в деревушку и забыться. Ма-

ня моя уже вся в делах и хлопотах. Кончились ее московские каникулы.

Шлю Вам статью, Вам, в смысле — тебе и Наталье Федоровне — сподобился ты пермской газеты и теперь уж пермяк, пуповиной с нею связан.

Чуть позднее пошлют деньги, они невелики, а все же на расходы сгодится.

Наверное, уже в Малеевке? Удишь? И я скоро буду удить! Не все тебе щук таскать. Вернусь из деревни, напишу длиньше.

А пока всем поклоны. Целуй за нас Наталью Федоровну.

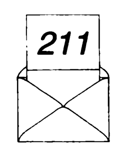
Твой Виктор

А. Макаров В. Астафьеву
Май-июнь 1967 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Надо же все-таки иметь совесть и не забывать свои книжки, и не ввергать в расходы по их причине. Забыли про книжку, забыли купить шляпу, которую предлагали, поскольку она мне оказалась велика (Мария Семеновна ее даже примеряла), забыли про перчатки, купленные для Вас Наташей еще полгода назад. Все забыли. А все потому, что Толя Знаменский заговорил. Так-то!

Ваш А. Макаров



В. Астафьев А. Макарову
12 июня 1967 г.

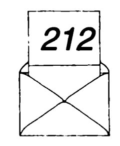
Дорогой Александр Николаевич!

Вот уже скоро десять дней, как я в деревне. Надо ли говорить, как я этому рад! После двухдневного похолодания, во время которого выпадал снег и довольно глубокий, установилась довольно сносная погода. И даже все зазеленело как-то густо и сочно. Лето наступило! Но много погибло птиц, особенно дроздов и скворцов, которые без корма долго жить не могут. То там, то тут в траве лежат трупики птенцов, а иные в речке утонули. Но соловьи поют во всю ивановскую, и позавчера притопал коростель — скрипит за нашей баней.

Я приходил в себя и ничего особенного не делал. Читал, в огороде копался и рыбачил.

Рыбалка худая. Сначала еще ловил по десятку-полтора харюзков, а сейчас они уже разбрелись по кустам и так их мало, что найти не удается. Приходится думать о передислокации на море, а там ветры дуют все время и вообще не по мне там рыбалка. Вот разве через недельку на судака можно будет выходить.

Читал Амосова «Мысли и сердце», очень умно, очень современно и никакой претензии на литературу. Начал читать Залыгина «Соленую падь». Ну силен мужик! Так о гражданской войне еще никто не писал. Ну мастер, собака! А вообще жизнь идет в деревне тихо и никакие израили тут не мешают бабам брагу пить, веники вязать, полоть в огородах и рано спать ложиться.

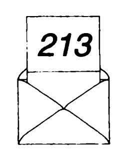


Мыслей у меня в башке нет никаких, слава богу. Прислали из журнала «Москва» и «Вопросов литературы» анкеты. В «Вопросах» уж больно мудреная, мне и не ответить на такую, а от «Москвы», наверное, тоже откажусь, хотя и обещал. Неохота что-то шевелить своей мыслительностью. Только сейчас, распустив мускулы, я и понял, как устал от жизни, домашних бед и съезда. Надобно отдохнуть по возможности и браться подчищать «Страницы детства» да и сдавать их в издательство. Маня моя помаленьку оживает и сейчас чувствует себя уже сносно, хотя и барахлит у нее сердчишко да левая рука по-прежнему немеет, но ничего. Она — баба живучая. Шьет вон сидит чего-то и сопит носом умиротворенно, аж мне спать захотелось, хотя сон мой все еще не очень отрегулирован. А как вы прозябаете в Малеевке? Рыбачите ли? Как брюхо? Как Наталья Федоровна?

Я в Карелию, наверное, не поеду. Чего-то не хочется трогаться из деревни. Там выпивки будут, суета, треп, а здесь покой, земляника и, глядишь, судак начнет брать. Тем более что в июле надо ехать в Латвию. Пожалуй, не поеду.

Книжку и рукопись получил. А Знаменский и правда зараза — роту солдат заговорит. Ну, обнимаю тебя, Наталью Федоровну и ребят. Маня тоже.

Твой Виктор



*А. Макаров В. Астафьеву**
Начало июня 1967 г.

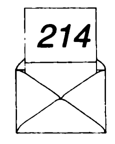
Дорогой Виктор Петрович!!

Скучно что-то мне стало, ах как скучно. Десять дней прошло после съезда, а кажется, бог весть когда были эти дни нетворческого отпуска, и снова я в какой-то каше непеределываемых дел. Вот уж неделю сижу в Малеевке, а за свою Николаеву и не принимался. То верстка свалилась, то есть не верстка, а сверка уже, ее и читать не надобно бы, а как не прочитать и лишний раз не позлиться — не так бы надо, а вот эдак, да в сверке править не положено. И трепет перед тем, что еще скажут цензоры. А они, возможно, и ничего не скажут, просто уж такое воспитание получил, живу вроде щедринского зайца, которого волк под кустом посадил, приговаривая: «Сиди и годи, пока я тебя съем, а может быть, ха-ха, и помилую».

Аннета засела за реферат об Авижюсе, и ей хочется дать совет, пришлось прочесть «Деревню на перепутье» — роман недурен, но ведь имена и фамилии у этих литвинов такие, что язык сломаешь и память не удерживает, да еще фамилии и имена на одни лад — зовут Викторас, кличут по фамилии Астафьевас, а автор, говоря, то по имени, то по фамилии называет, вот тут и пойми, тот же человек или другой. Потом свалились на голову поэты, претендующие на прием на ВЛК. Десять ден, 28 книжек.

---

* Печатается по книге В. Астафьева «Зрячий посох» (М., 1988).

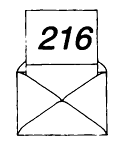


Они хоть и тонюсенькие, но все же надо время, чтобы прочесть и разобраться, чем одна отличается от другой. Кстати, между ними и твой кемеровец Баянов, тебе он, помнится, очень нравился. Он и в самом деле прелестный парень, видимо, с очень доброй душой, и стихи настоящие, с деревенской, милой сердцу тональностью и манерой, причем все это у него не наборная вода, как у Бокова часто, а своя, ключевая. С удовольствием написал ему «доброго пути» на курсы, на которых ему, кстати, побывать надо. Вторая книжка у него не хуже первой, но и не лучше, сердце-то большое, а кругозор маленький. По правде говоря, до сих пор я ценил курсы больше всего за то, что они дают возможность завязывать связи, но вот из разговоров твоих и Знаменского понял, что вы что-то на них еще получали, что они в чем-то стимулировали вас. Возможно, это больше относится к прозаикам, с поэтами у меня бывало и наоборот — начинали писать хуже или уходили в прозу. Стихи ведь рождаются на непосредственности, на том, что не ведаешь что творишь, а вот как раскроется механика, так оказывается, и писать-то не умеешь. Впрочем, у молодых поэтов есть то преимущество, что они могут в прозу уйти. А уж прозаикам сунуться некуда. Так-то.

Что делается в Москве — не знаю. Наверное, все еще обсуждается вечер Паустовского, который был довольно с горчицей. Каверин, открывая, заявил, что в литературе у нас есть направления, и назвал Булгакова и лишь потом юбиляра. В зале запахло жареным. Так и пошло: каждый выступающий гово-

рил тоже с намеками: Яшин, что Паустовский изменил его жизнь, напечатав в «Литературной Москве» «Рычаги», сделав его, Яшина, бедняком, но зато честным человеком. Балтер говорил — плел что-то о трагедии художника, который не может сказать, не знает, что сказать, хотя к Паустовскому это никакого отношения не имеет, это Балтер, десять лет назад написавший средненькую повестушку, не знает что сказать. В общем, получился эдакий оппозиционный вечер, а сверху было сделано все, чтобы он был таким. Ведь это надо же было к 75-летию ничем не наградить старика. Ясно, что весь зал был настроен возбужденно и запретное падало на благодатную почву. И никого из писательского начальства, даже приветствие только из московского отделения.

Нет, ей-богу, мы, наверное, совсем отупели (ты видишь, я говорю — мы, подразумевая, конечно, не вас — провинциалов, а себя как человека, возведенного в ранг члена правления и уже чувствующего себя имеющим отношение к власти). Ты-то, наверное, скажешь: ну и лучше, что поглупели. А мне все-таки почему-то обидно, что делать, старого закала я человек и все еще к сердцу принимаю наши просчеты. Ну что стоило на съезде хотя бы заявить, что вот, мол, было серьезное письмо, и есть предложение передать его на рассмотрение секретариата. Была бы хоть видимость порядочности, тайны не было бы и то слава богу. «Положительная сторона съезда, — сказал мне один товарищ, — в том, что он обнаружил полную ничтожность нашего писательского руководства».



Благодарю покорно, хорошо эдак острить в литературных кулуарах, но для читателя-то не существует писательского руководства, а есть просто писатели, и он по докладам не о докладчиках судит, а об уровне всей писательской братии.

Здесь, в Малеевке, писателей что-то не видно. Есть Радов, который вот уже три дня пьет, как только уехала Римма; есть Пашка Железнов, стихов которого я не читал с тридцатых годов; есть Таланов, о котором ты, верно, и не слыхивал. Впрочем, в «Жизни замечательных людей», кажется, есть книжка о Качалове. Есть его жена — Серафима Бирман — превосходная актриса и умнейшая женщина. Ей 76 лет, но сидеть с нею за столом и прогуливаться — наслаждение: какие воспоминания, и если б только воспоминания, какой острый ум, интереснейшие суждения о современном театре, об актерской молодежи. Жаль, ленив я записывать.

Иудейская война, поначалу всех напугавшая, за два последних дня приобрела какой-то комический характер. Говорят, будто Насер обратился к У Тану с просьбой о перемирии. Дай-то бог, не хочу я (на это раз я) этой войны, как и никакой войны не хочу.

И какое-то странное мистическое ощущение у меня от нее — «Перешли Кедрон», «движутся в направлении Тивердиадского озера», «бои у Вифлеема», — ведь все это памятные с детства евангельские названия, по этим местам Христос ходил — в Вифлееме родился, в Иордани крестился, на Тивердиадском озере рыбаков в апостолы вербовал. Вот уж во-

истину: «неисповедимы пути господни!»

Ну вот и все мои впечатления, и что-то уж очень мое письмо напоминает послание Хлестакова своему другу — а вот еще, а вот еще... А на улице дождь. А Наташа повезла в Москву мою сверку. А я скучаю и, вернее, даже стосковался и по тебе, и по Марии Семеновне — поговорила бы она сейчас про жизнь, глядишь, и стало бы веселее.

Обнимаю вас, счастливые быковчане. Не забывайте нас в своей лесной обители трудов и чистых нег.

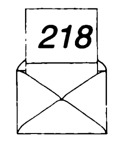
Твой А. Макаров

В. Астафьев А. Макарову
Июнь 1967 г.

Дорогой Александр Николаевич!

Не больно летом-то пишутся письма. Из деревни написал тебе только одно — все некогда. С утра работаю — домозоливаю «Страницы». И домозолил вроде бы. Маня мается — ездит печатать домой, потому что декада в Латвии начнется не в конце июля, а 13-го, и надо успеть добить книжку до отъезда.

В Карелию уж не поехал, неохота мотаться. В деревне прямо благодать, и я подумал, на кой хрен тебе эта Малеевка, жил бы здесь да рыбачил себе. Нынче на море сильно берут лещ и сорога. Был сейчас у нас пьяный лесник — рыбак заядлый, хвастался.



Я же все за хариусами рыскаю. Вчерась поймал 32 штуки, а есть некому, мать уехала, ребята лишь сегодня прибудут. Посолил рыбу. Хариуски соленые у меня еще прошлые есть.

Грибы начинаются. Собрал уж на грибовницу и сейчас вот еще пойду.

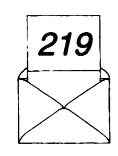
Полем в огороде, садил-то я без Мани и по случаю потепления садил рано, и выросло бурьяну много, а картошки не видать.

До сих пор не наладился сон. Никак не думал, что съезд так надолго выведет меня из равновесия. Как вспомню, так и трясет меня. По прошествии времени только понял, как подло все и какая беспросветность впереди.

Где ты будешь в Литве-то? И когда? Если до 13-го не уедете, то я тебя, может, и повидаю, а из Латвии едва ли. Там сыр-бор начнется. Не поехал бы, но купить кое-что надо и себе, и ребятам, костюм надо, пальто, сапоги — ничего-то у нас нету. Все заперли до праздников. Берегут к Христову дню? Поедем мы вместе с Маней, чтоб никакая латышка на меня не позарилась! Ну пока ездим в Латвию, и август подкатит. Ты уж ничего не намечай на август-то. Приезжай в начале и поживешь тихонько. Ей-богу хорошо тут. И пописать даже можешь, если захочешь. И порыбачим судаков, и побродим по лесу.

Привет твоим чадам, а Наталье Федоровне — объятье!

Виктор



А. Макаров В. Астафьеву
29 июня 1967 г.

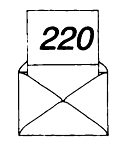
Дорогой Виктор Петрович!

Вот до чего я дошел, письма написать некогда. Совсем заездила проклятая баба — покойница Галина*. Написал 60 страниц. И конца-краю не видать. А нужно 2 листа: но приходится все выяснять для себя на ходу, ей-богу, такой искренней конъюнктурщицы еще не бывало, сам К. М. Симонов перед нею младенец. Но как труженик она не может не вызывать уважение, да и талантлива была, вот тут и крутись.

Из Малеевки вернулся третьего дня в самом рассвирепелом настроении: работу не кончил, рыба не ловилась, у Наташи флебит на ноге и опять лежит в лежку да еще хнычет, что ходить не может. Неудобобытные нам достались бабы — кипучей энергии хоть отбавляй, беспокойности не занимать, а немощи их то и дело подстерегают.

А тут лето, вдруг — не успели приехать — вместо 9-10 градусов по утрам сразу 30, жара несусветная, и мозги тают. Очень хочется съездить на родину, в Калязин, приглашают, не знаю, сможем ли. А 15-го надо ехать в Литву с Аннетой. И выходит, что Николаеву никак мне до отъезда не кончить. А тут еще звонки, звонки, звонки — юбилейные номера приближаются, и всем чего-то обещаешь. До чего дошло — звонит из «Октября» Стариков, просит

* Галина Николаева.



прочесть роман Бубеннова, они, видите ли, не могут решить, плох он или хорош. Наташа отвечает, что он, то есть я, член другой редколлегии, у вас, мол, свои есть, а он в ответ: «Нам нужен порядочный человек». Господи, да неужто перевелись порядочные люди, да и не могу я быть, не хочу быть порядочным, мне покой нужен и Бубеннова я не люблю. Сегодня утром взбесился, говорю жене: «Звони по всем номерам и в «Вопли», и в «Дружбу», от всех предложений, скажи, отказывается, извиняется, простить просит, но не может, болен, на пороге к издыханию». И на анкеты никакие отвечать не буду — ведь все эти анкеты и споры вдвоем выдумали потому, что печатать нечего.

И книжку еще цензор не читал, все еще где-то валяется, а у меня там не какие-то безобидные рассказики о деревенском детстве, а все политика — про Симонова да про культ. Слово же это ныне для цензоров хуже, чем «жупел» для купчихи Островского, у которой от слова «жупел» все поджилки тряслись. Вот и хочется рвать и метать, метать и рвать, а что рвать, что метать, и лошади на дворе нет, а то бы пошел и вдарил, было бы на ком злость сорвать. На жену зверем посмотришь, на том и утрешься. Напиться невозможно, и без того в животе нет-нет, да и поноет. А я труслив. Страсть. Да нет, пожалуй, и не трусость даже, а устал от всего, ну прямо вот так устал, как когда-то рабочий поэт Воронов, коего Горький в сборниках «Знание» печатал:

Я устал от шума жизни
Бестолковой и угарной,

От кичливого богатства,
От забитости нужды,
От продажности и торга,
От культурности базарной,
От наивного восторга
И бессмысленной вражды.

По форме не ах, но по содержанию... мало что изменилось в нашем мире, разве лишь забитости поубавилось весьма, зато и наглости поприбавилось. А дальше у того же Воронова было уже про Вас:

Я ушел в лесную чащу,
Где задумчиво угрюмы
Сосны старые толпятся,
Где кудрявится река,
Где...

ну и т. д., про что мне писать нечего, это вы в соснах живете и судаков небось ловите, поскольку не белы снеги, авось растаяли.

Марии Семеновне низко кланяюсь я и Наташа, ее она целует (Вас пока нет), а вот я целую обоих.

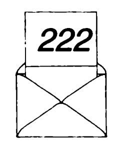
Привет от Толи, Юры, Аннеты.

Твой А. Макаров

В. Астафьев А. Макарову
29 июня 1967 г.

Дорогой Александр Николаевич!

Маня привезла мне в деревню журнал, присланный тобою, и я еще раз, теперь уже неторопливо и



обстоятельно, прочел твою статью и еще раз убедился, что статья добротная, вызывающая много мыслей. После первого прочтения статьи и разговора с тобой у меня что-то начало пошевеливаться насчет романа. Плавают в мыслях и голове много судеб, случаев, событий и однородных сюжетов. Все хотел засесть как-нибудь и написать цикл зарисовок и очерков, не вошедших в газету, написать просто так, для себя, и сейчас вот прикидываю и вроде бы начинаю как-то собирать эти судьбы, в основном ужасные, в одно целое.

Словом, что-то чуть еще мерещится, чуть шевелится, «и даль свободного романа» совсем, совсем еще не ясна мне.

Но поскольку я тугодум, однако тугодум твердый, то, может, и выношу чего, может, и соберу в кучу разные судьбы и картины. А пока довычитываю с машинки «Последний поклон». Только что дочитал «Где-то гремит война», повесть «исправленную и дополненную». А она и в самом деле ничего! Для меня даже несколько неожиданно это, потому что и написал-то я ее нечаянно. Хотел два рассказа — о шорницкой и об охоте на коз написать в «Страницы детства», потом пошло-поехало, и вот получилась бесхитростная и переживательная вещь.

Неисповедимы пути наши... Над иной вещью бьешься, бьешься. Думаешь, я ее так напишу, ух как напишу, а потом хвать-похвать, и ни хрена-то не получилось. Что было в башке, там и осталось, а на бумагу сопливые вышлепки вылились.

М-да-а, нудная, сложная работенка! Читали ли «Карюху» Алексеева? Если нет — советую. Я просто

очарован этой вещью. Русская, истинно русская, благородная проза!

Да, чуть не забыл.

Наверное, и раньше сказать забыл. Вот в том месте статьи, где ты пишешь (напокупал я ручек на съезде и теперь маюсь — ни одна ладом не пишет): «Я мало верю в случайности...» Совершенно верно. Я — тоже. Подкрепить следует этот важный аргумент. И подкрепить поучительно для всех, кто думает, что писатель с неба сваливается.

Во-первых, от природы я был выдумщик, враль и фантазер. Но этого мало. Вралей у нас и фантазеров дополна. Вон Хрущев какой враль и фантазер был, а писателя из него так и не получилось. Хотя пробовал человек...

Так вот, надо, чтобы какие-то природные задатки попали еще в благоприятные условия, получили бы толчок, что ли.

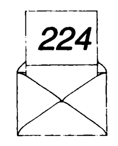
И мне в этом смысле повезло.

Тебе на глаза, наверное, не попалась моя статья об Игнатии Рождественском, напечатанная в «Октябре» в 1961 году? Она многое бы прояснила.

В самом «творческом» возрасте я жил в Игарке. Городе, каких сейчас уже нет, к счастью и несчастью.

Город весь кипел страстями и... творчеством. В нем много читали. И не только потому, что длинная зимняя ночь, метели, оторванность — это один из фактов, но еще и потому, что здесь это было самой жизненной потребностью.

Вспоминаю, что когда началась работа над книгой «Мы из Игарки», все школы, все «опчество»



было не на шутку возбуждено и заражено этим. Везде шли конкурсы скрытые и открытые. В каждой школе издавались рукописные журналы, еженедельно выпускались стенные газеты со стихами, зарисовками, фотографиями, рисунками. Газета «Большевик Заполярья» шла нарасхват, ибо тоже заполнена была «художественным материалом». И вот в эту-то пору прибыл в Игарку Игнатий Дмитриевич Рождественский. Он преподавал литературу и русский, преподавал как бог на душу положит, много нам читал, рассказывал, учил распознавать слово, прививал к нему вкус. Я сидел тогда в 5-м классе второй, если не третий, год. Учеником считался архиплохим, человечишком архибросовым. И вот чтение вслух. Проверка как кто читает. И отличники мямлят, а я будь здоров прочитал. Игнат заметил меня, хотя и тогда уж близоруким был. Стал чаще спрашивать, спрашивать тогда, когда другие ни в зуб ногой. Я, естественно, из кожи лез, чтобы ему потрафить.

А потом я стишок сочинил об Игарке: «Игарка, Игарка, ты город полярный, на севере вырос, среди холодов...»

И этот стишок попал в обзор, помещенный в газете «Большевик Заполярья». Буквами была напечатана моя фамилия! Я ходил — грудь колесом! Весь детдом мною гордился. Экспромты требовал. И я сочинял экспромты, преимущественно непечатного порядка.

Но шутки шутками, а ведь с этого, со встречи со стоящим учителем и обзора в газете, я почувство-

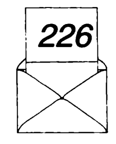
вал, что чего-то стою, и строже к себе сделался, учиться лучше стал. Правда, поздно хватился. Кончил шестой класс, и возраст мой вышел из детдомовского, но уже в шестом классе я землю рыл и кончил его за одну зиму, а не за две и не за три, как прежде. Еще когда в пятом был, Игнат дал нам большую тему для сочинения, приблизительно сказав, у кого что самое интересное было летом, о том и напишите своими словами.

А я летом блудил. Четверо с лишним суток блудил в заполярной тайге и сам вышел, сам себя спас, хотя доблестные родители мои посчитали меня пропащим и облегченно уж вздохнули.

Вот о том, как я блудил, и написал зарисовку под названием «Жив!» Игнатию Дмитриевичу она очень понравилась. И он ее взял в рукописный школьный журнал, где она и была напечатана с рисунками школьных же художников.

Много лет спустя я вспомнил об этой школьной зарисовке и на основании ее написал рассказ «Васюткино озеро». Я и до сих пор не стыжусь этого рассказа. Он, по-моему, один из самых лучших моих ранних рассказов (я писал его третьим или четвертым по счету, после «Гражданского человека»).

В книжку «Мы из Игарки» я не попал и по чистой случайности. Материалов в книжку набралось тьма, и отбор был жесточайший. За фамилией В. Астафьев поставили один материал и посчитали — хватит, два, мол, жирно будет. А это был мой однофамилец, совсем из другой школы — Вася Астафь-



ев. Он писал об Игарке и о том, что мечтает быть поэтом, а погиб как будто на войне...

Словом, вся эта творческая струя в школах, в городе пробудила в ребятах вкус и стремление к творчеству, и много вышло (и если б не война!) одаренных людей из игарских школ.

И меня, разумеется, не минула эта струя.

Потом было не до творчества — это другой разговор, однако зерна, зароненные в детскую душу, должны были когда-то прорасти.

Вот о чем, наверное, я забыл тебе рассказать. А это важно. Важно прежде всего для тех, кто думает, что писателем может быть каждый, и особенно для тех, кто учит детей. Мало их учить грамоте, совершенно этого недостаточно. А у нас начали об этом забывать.

Где ты сейчас? Все еще в Малеевке? А я скоро из деревни фью-ууть! Жаль! Прихватило меня опять тут. Валялся три дня. Сожрал чего-то. И взяла меня печень и брюха. Все-таки не избежать мне Ессентуков. Надо будет ехать осенью. А пока в Латвию собираюсь и скорее заканчиваю «Последний поклон», чтобы сдать на обсуждение до отъезда.

Как твое здоровьишко? Как все твои чады и домочадцы? Что-то уж я и стосковаться успел. Ну, до встречи в скором времени.

Обнимаю тебя.

Твой Виктор

*А. Макаров В. Астафьеву**
Первая половина июля 1967 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Два твоих письма лежали у меня на столе, когда я вернулся из поездки к родным пенатам. Бросил все на полдороге и второго смотался в Калязин, где Наташа вот уж год обещала выступить.

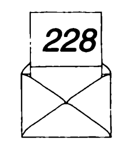
Поехали на машине и прямо с ходу в родную деревню Осташково.

Пусто в деревне, хоть шаром покати. Отцовский дом, в котором живут, и тот чужим и запустелым веет. Дети у хозяйки выросли, дочь замужем и учительствует в городе, и она зиму с нею жила, коров продала, кур вывела — дом не дом, так, строение. А бабушкин дух и вовсе выветрился. Никакого чувства не пробудилось во мне, зашел так же, как бы и в любой дом зашел, — видно, с возрастом даже воспоминания детства теряют свою власть.

Полуслепая соседка чистит картошку, рассказывает, что сын вот уж два года не приезжает — тот, с которым я и сейчас переписываюсь и которого в свое время Есениным заразил. Живет старуха с дочерью — девицей, рождения 21-го года, так и не вышедшей, как большая часть ее подруг, замуж — все такие девицы работают тоже не в деревне, а в Калязине, за шесть верст, в «Красном швейнике». Зато теперь не пешком ходят, а на велосипедах ездят.

---

* Печатается по книге В. Астафьева «Зрячий посох» (М., 1988).



Выходить им было не за кого, да и сейчас в деревне один Юрка-киномеханик, постарше Аннеты на три года, красивый малый и добрый очень, только по доброте своей он еще лет десять назад сошелся с Лидочкой, старше его лет на 16, да так при ней и остался, в прошлом году расписались, теперь воспитывают дочь. Раньше семья восставала против, теперь смирилась. Закормил он нас сметаной и творогом.

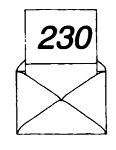
Новости в деревне какие? Вчера закопали Аннушку Колпакову, жену первого председателя колхоза, посаженного в 1934 году и где-то помершего, женщину с трагически-черным, дурным глазом. Глаз у нее действительно был дурной. Бывало, пойдешь на рыбалку, встретишь ее на пути — рыбы не жди. А жила она напротив, и никак ее не обойдешь.

Вот и все «деревенские новости». Посидели мы часа два со старухами, порадовались они, что не забываем, и махнули в Калязин. А дорога — врагу не пожелаю — одни колдобины и выбоины, вся исковерканная тракторами. И пыль, пыль, пыль... В калязинском техникуме обрели пристанище в комнате для приезжих, очень милые, хорошие люди вокруг — учителя техникума. Встретился со своим приятелем комсомольской поры, директором модельной фабрики — неугомонный человек, думает перестраивать свою фабрику, чтоб оставить по себе память, когда уйдет на пенсию. С утра, с пяти часов копается в огороде, где у него яблонь тьма, и все меня поучал, как надо заниматься в наши годы физической работой. Надо, конечно надо, да где же взять не силы, а возможности.

Ловил рыбу, берет, как и у вас, лещ, а рыбалка была приличная. А вообще дни шли так: Наташа прочла что-то около семи лекций, а я сачковал, да и мало кого здесь интересуют наши съезды и литература. Ездил на Олексинский ручей, где обычно ловил рыбу, на лодке, на водохранилище, в лес, еще два раза побывал в деревне, ездил в Мышино, в деревню, где живет племянник бабушки — последняя родня. Вот человек, который может быть примером даже пионерам. Пастушит. Увидел нас, затрубил в свою дуду-трубу, строен, загорелый, веселый и довольный, несмотря на свои 60 лет! Похож он на бабушку донельзя. И характером, и лицом, да и на меня тоже, только не характером, а лицом. Выпили мы коньяку, вспомнили о детских годах (в детстве-то я жил возле этой деревни), попрощались с пожеланием встретиться. А может, и навсегда...

Вернулся в Москву с грудой рыбы, жареной и замороженной в холодильнике (езды-то ведь пять часов), и с флюсом, и малым, но не прекращающимся нытьем в животе (видно, и мне придется по Ессентукам ездить), и два дня пребывал в какой-то душевной прострации. Пустота деревень, которыми проезжали, как-то особенно легла на сердце.

А тут еще личные огорчения: после зимней болезни что-то мне изменили глаза, газетный петит разбираю с трудом, видно, придется заводить очки, а уж что это за жизнь, коль «мартышка в старости слаба глазами стала». Только сегодня вернулся к Николаевой и с остервенением дописал главу о



«Битве в пути». Хорошо кое-кому возвращаться к воспоминаниям детства — удобней оно и прелестней, а тут идешь, как на принудиловку из вытрезвителя.

Вот о тебе было хорошо писать, что-то уж очень родное и близкое, а тут заводы. Инженерия... Кстати, статью об Игн. Рождественском, конечно, я читал в «Октябре», просто у меня это не влезло, вернее лезло, да я испугался, что уже в начале статьи разбалтываюсь так, что конца-краю не видать, и не без горечи я опустил это. Но ты написал и много другого (о газете, о стихе), что не премину использовать, если бог даст дожить до книжки.

Московских новостей не знаю, скрываюсь. Прочел статью Евг. Носова. Уж очень он ее раскудрявил. Мысли-то дельные, но не столь уж новые, а попробуй поймай их в этих кольцах дыма от самокрутки солдатской.

Думаю, что письмо это не застанет тебя, ну ладно. Может, и потом прочтешь, а мне же так хочется поговорить с тобой.

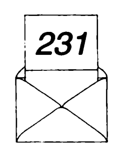
Август, что ж в августе, я не меньше его жду, да как бог даст.

Марии Семеновне и ребятам низкий поклон.

Наташа и мои ребята салютуют.

Твой А. Макаров

В Литву мне что-то не хочется, но надо. Поедем 18-го.



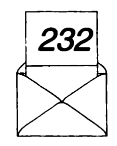
В. Астафьев А. Макарову
30 июля 1967 г.

Дорогой Александр Николаевич!

На обратном пути из Латвии звонил я тебе с аэродрома, но долго и громко мне объясняли, что ты в Литве и вернешься в августе.

В Латвии нас встречали хорошо и все было славно, кроме мелочей и раздражительного поведения Вити Бокова, который окончательно помешался на своей персоне, и гениемания так захватила его, что он уже кажется шизофреником. Устали очень от приемов, речей и выступлений, а еще от пьянок. Каждая встреча — это пьянка. Искупался раз и раз на рыбалке был, однако четырех щучонок добыл на спиннинг. Ну да там и слепой поймает — так много рыбы. Моей заслуги тут нет никакой. Даже неинтересно и ловить. Теперь вот дома. Пермь встретила нас страшным ливнем. Отвесно стояла вода. Залила улицы так, что стояли трамваи, а люди бродили по улицам, аки по Енисею, и один мальчишка даже утонул, ибо строители коммунизма, торопясь приблизить светлое будущее, спешили и не закрыли крышку магистрального колодца. Ребенок резвился, бегал по воде и ухнул туды.

А сейчас я в Быковке. Маня дома. Дети собираются сдавать экзамены с 1-го августа и надо их пороть и говорить: «Ребята, занимайтесь! Ребята, занимайтесь!..» Они же рычат на нее так, будто она конвоир и не дает им ходу в вольность, и вообще мешает жить им, как желательно, а желательно им жить, ни хрена не делая и сладко кушая. В Быков-



ке я с отцом. Он тяжело болеет. Износился в скитаниях, тюрьмах и на морях-океянах. Сейчас у него все больное. И надо бы сердиться на него за себя, за братьев и сестер, раскиданных им по свету, а не могу. Жалко его. Не разори великая власть нашу семью, не утони мать, он бы жил себе, как все люди, и, наверное, семья была бы как семья и он человек как человек, а так что же! Не одного его жизнь запутали, изломали и под конец отвалили 45 рублей пенсии. Живи не тужи и благодари за то, что еще не удавили совсем. В лес даже ходить не может, а он вечный таежник, и это для него мука большая, хотя он и скрывает.

А в лесу нынче грибов, ягод! Я вчера сгоряча сбегал, наловил на уху хариусков, а потом схватил корзину и прямо за полем в течение часа набил ее грибами. Хотя бы вы скорее все приехали и застали бы лето со всеми его благостями! Ведь Литва и Латвия, хотя и богаты природой, но все равно — не Россия, чужие они. Сидишь — рыбачишь, а за спиной георгины цветут, ну какая же это природа!?

Не разладишься ли ты за поездку в Литву? Сможешь ли к нам-то приехать? Хорошо бы в начале августа. Я ведь на сентябрь хочу рвануть в Сибирь. Пожить в родной деревне — потрудиться и отдохнуть от семьи со всеми ее экзаменами, бедами и неурядицами. Забыться хочется хоть ненадолго. Да и в Енисейске побывал, ибо уцелил я сделать героя из «Пастуха и пастушки» родом из этого замершего городка, когда-то шумного, богатого и расположенного неподалеку от казачинского порога, среди величественной, яростной природы. Думаю, что именно

в таком месте должен был вырасти мой герой — застенчиво скромный, но бесстрашный, яростный в иную минуту и робкий в проявлении чувств, но до последней жилки отдающийся ему и товариществу. Надо понюхать город, зайти в старое здание гимназии, где школа сейчас и где учился мой герой и умудрился умереть гимназистиком, хотя нюхал только помещение гимназии, только помещение...

Ну вот, я уж и сочинять начал!

Пиши или телеграфируй, когда сможешь приехать.

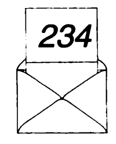
Целую тебя и всех домочадцев.

Пребывающий в Быковке — В. Астафьев

А. Макаров В. Астафьеву
8 августа 1967 г.

Дорогой мой Виктор Петрович!

Я все медлил с этим огорчительным для меня письмом: все думал, авось обойдется и приедем к тебе, уж очень мне этого хотелось. Однако человек предполагает, а бог располагает, и милосердный бог еще не счел достойным простить грешника и продолжает испытывать его животными терзаниями. В Литву я поехал полубольным, всю дорогу нудно ныл проклятый живот. Не надо было бы ехать, да нужда погнала, у Аннеты отпуск и другого случая не было, чтобы ей что-то показать да и ее работу там проконсультировать. Встретили нас там хорошо, поселили в комнатах Литфонда, есть у них там тайная гости-



ница на случай если номеров в нормальных не окажется. У Аннеты дела пошли как нельзя лучше, к тому же ждал приятный сюрприз — Наташина книжка про отцов вышла на литовском, а мы и не знали. Встречи были редки, на лето Вильнюс писателями беден, все на взморье, но полезны и содержательны — с Беляускасом, Поцюсом, Капланасом. Ихняя «Вечерка» даже дала информацию — вот-де какие гости нас посетили. Съездил в Каунас, еще раз поблаженствовал в музее Чюрлениса. Кстати, в отделе народного творчества Христы очень напоминают пермские, только их искусствоведы в отличие от вашего пермяка считают, что он держит руку у лица не потому, что защищается от удара, а потому, что скорбит о делах людских. Рыба там ловится в самом Вильнюсе, в Нерис, за два шага от Союза, плотва такой величины, какой я и не видал, и ловится на улиток, которых тут же на прибрежных камнях можно найти в переизбытке. Словом, все преотлично, но вот проклятый живот не давал покоя. И пришлось мне вместо 1-го вернуться только вчера, все ждали, что будет лучше. А за три дня до отъезда так прихватило, что потом два дня лежал в полной прострации и все засыпал. Ну куда мне в таком состоянии ехать. Завтра потащусь к врачу. А вообще хочется только лежать и плевать на все. И как же обидно, не могу я приехать: хворый гость — хозяину тягость. Эту пословицу я сам придумал, и она мне очень понравилась. Хочешь, продам, возьму недорого. Вот так-то. Очень я рад, что у тебя все пока благополучно, жаль, что старик болеет, привет ему от меня: скажи,

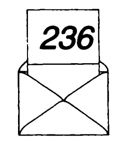
что я благодарен ему за такого сына, на котором бедные критики могут зарабатывать деньги, да еще с удовольствием и отрадой. А дети, что ж дети, они теперь какие-то необыкновенные, но я надеюсь, что и тут перемелется — мука будет. Не все же му́ка.

Порадовало меня, что ты вплотную собираешься заняться своей пастушкой, а там, глядишь, и к роману пора подойдет. Пусть он пока где-то в тебе шевелится незаметно, хотя ножкой еще и не стучит.

Надо ли писать, что это время я не работал, не до того было. Прочел лишь для «Совписа» рукопись воспоминаний о Светлове и нашел в одном из них у какой-то незнакомой мне Федосюк утешительные для меня слова: «Я — не Николай Островский. Когда мне плохо, я работать не могу. Вот станет легче, начну писать. Мне еще столько сделать надо». Вот и я уж начну, когда станет легче. Даже за правку статьи о Николаевой не принимался. Обидно лишь, что все оттягивается статья о поэте Жукове (Иваново) и Казанцеве (Томск), я ведь их расспрашивал да выпрашивал, они вроде обнадежились, а теперь небось думают: вот трепло, только за нос водил. Ведь все-таки, что греха таить, у вас, писателей, мнение о нас, критиках, такое, что пишем мы не по вдохновению, а просто обмакнул перо и пошла писать губерния. Тебя ведь я тоже с год мурыжил.

Ну вот пока и все мои огорчения, если не считать еще того, что наш Толя последнее время что-то чересчур взбрыкивает и устраивает сцены. В общем кисло, тошно и кюхельбекерно.

Да, вот Алигер написала о Светлове прекрасно,



чертова старуха прямо чудо сотворила, прочел и словно с живым встретился и пришел в то же состояние какой-то ноющей любви к этому человеку, и болит за него, может быть, самого человечного и мудрого из встреченных мною в писательской среде, да и не только.

У Наташи вышла книжка наконец-то.

О судьбе моей книжки* пока не знаю.

Низкий поклон Марии Семеновне, тайно от тебя целую ее. Пожелание успехов ребятам.

Твой А. Макаров

В. Астафьев А. Макарову
11 августа 1967 г.

Дорогой Александр Николаевич!

Все я жил и жил в деревне. И хорошо уж жить начал. Писал много, и «для себя» писал, не обращая внимания ни на что. «Затеси» писал, т. е. то, что давно сложилось в душе, не давало покоя, а все добраться до этих вещей не мог и вот добрался и строчил вовсю, а тут раз — в Пермь вызывают, обсуждение моей книги «Последний поклон». А так как мир наш населен идиотами, которым ничего не стоит сожрать твое время и настроение рабочее, то не могли в Союзе сосчитать до пяти и вызвали меня на сутки раньше. Вот и сижу, матерюсь, а за окном дождь хлещет — погода разом испортилась. Все вре-

* Речь идет о книге «Поколения и судьбы» (М., 1967).

мя было жарко и сухо, а сейчас полило и, видать, надолго. Я писал тебе из Быковки письмо. Но от тебя ни звуку, ни грюку. Или все еще в Литве? Или расхворался? Сегодня уж 11 августа. Я уже и поджидал Вас всех. А теперь Толя уже не сможет приехать, помню, что ему 13-го на работу. Но ты и Наталья Федоровна ведь можете! Еще половина августа впереди и, в крайности, я оттяну свою поездку в Сибирь на какой-то срок.

Так и не знаю я, прошел или нет мой рассказ в «Новом мире»*. В августовском номере нет, а с июльским у них опять что-то случилось.

Пишу я коротко на тот случай, что надеюсь все же увидеть тебя в скором будущем. Только бы погода не забарахлила! Дети мои, оба, завалили экзамены, сейчас болтаются, как шевяки в проруби. Беда! Как вы-то съездили? Чего нового-то?

Обнимаю всех Вас и целую. Не хворайте! Брюхото береги!

Твой — Виктор

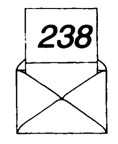
А. Макаров В. Астафьеву
14 августа 1967 г.

Дорогой мой Виктор Петрович!

Видимо, наши письма разошлись, хотя по моим расчетам к 11-му Вы должны были получить мою

---

* Видимо, речь идет о рассказе «Ясным ли днем». Рассказ был напечатан в «Новом мире» (1967. № 7).



скорбную эпистолу. Надеюсь, оно не пропало. А вдруг. В нем подробно я описывал и пребывание в Литве, и свою досадную хворь, каковая мешает мне приехать. Повторять все мои ламентации нет смысла. Вы и сами поймете, что для меня значит отказ от поездки, о которой я год мечтал. Но что поделаешь. Опять просвечивали, опять ни хрена не нашли и посадили вновь на престрожайшую диету. Больше они ничего выдумать не могут, а на воды пока не советуют, поскольку непонятен я, и внутренности мои опутаны газами, как планета Юпитер, и разглядеть ничего невозможно. Вот и кончилось тем, что завтра еду в Тарусу, видимо, на месяц, не сидеть же в Москве, и буду там на пище св. Антония с предписанием поменьше двигаться, да и куда там двигаться, разве лишь

Выйду я на реченьку,
Сяду на гумно,
Самому себе я
Надоел давно.

И взаправду надоел, не хватало, чтобы тебе еще надоел.

Новостей у меня никаких, в Москве никого кроме эскулапов и не видел, и охоты нет. От них узнал, что Паустовский давно уже плох, сознание просветляется лишь временами.

Ребят своих разгони по работам да не печалься очень, придет пора — возьмутся за ум, жизнь заставит. В том-то их и беда, что жизнь мало их чего заставляла. И больше всего я сочувствую Марии Се-

меновне, волнуется небось, страдает, а ей-богу перемелется — мука будет. Моя ведь тоже после десятилетки учиться не хотела, на фабрику пошла, а потом взялась за ум. Вот только Андрюше армия, наверное, грозит. Это, конечно, не сахар.

Вот так. Поезжай с богом на свой Енисей, взлелеивай своих пастушат и берегись зеленого змия. А главное, изредка пиши мне.

Обнимаю тебя крепко. Марии Семеновне кланяюсь.

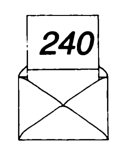
Наташа шлет горячий привет. Толя тоже, а ребята мои вновь укатили в Литву.

Твой А. Макаров

В. Астафьев А. Макарову
20 августа 1967 г.

Дорогой Александр Николаевич!

Начинаются дни золотые... т. е. начинается охота, а завтра день рождения у Мани, соврал — послезавтра! И надо промышлять что-нибудь на стол, вот я и собираюсь с други во леса с ночевкой, а потом гулять будем, пить чего бог пошлет, петь, плясать и материться от души. То-то праздник будет! Я все в деревне, шибко жалею, что Вы не приехали. Погода нонче не погода, а изумленье какое-то. До сих пор народ купается в море и жара стоит, и рыба клюет, рыбаки сказывают. Я сам-то не хожу, утерял вкус к рыбалке, хариус остался мелкий, ловить его неинтересно, а после хариусов никакая рыбалка не идет —

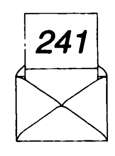


это все равно, что после струга — топором.

Все это время работал. Каждый день. Писал «Затеси», для себя писал. Много чего накопилось. И написал изрядно, да еще больше писать осталось. Подоспело обсуждение «Последнего поклона». После обсуждения (в Союзе нашем) возникла потребность еще кое-чего в рукописи поделать, и до поездки в Сибирь решил я эту работу провернуть, ибо в октябре на меня навалится текучка, надо будет читать верстку, редактировать сборник в «Совписе» и т. д.

Живем мы хорошо. Мария, отец и я — в деревне, ребята — в городе. Ирина ищет работу, а Андрей пытается сдавать экзамены по второму заходу, теперь уже на вечернее отделение. Хоть бы сдал! Самое главное, чтобы они не болтались, как шевяки в проруби. Читаю очень хорошую книжку о Лермонтове — Ивановой. Читаю и ахаю, уж такая неподходящая земля — Россия для гениев, так она их терзает, а они нет-нет, да и появляются на беду свою. Горькая книга, страшная судьба поэта. Новостей никаких у нас нет, а грибов много и малины тоже было много, но она уже осыпалась. Ходил по грибы последнее время каждый день после обеда. Жду поездки в Сибирь. Во сне ее уже вижу, матушку. Через неделю, видно, и отправлюсь. Из Сибири напишу что и как. А ты как со своим курсаком? У меня тоже чего-то пошаливает, но терплю. Не хворай — это самое главное. Привет Наталье Федоровне, Аннете и Юре.

Твой — Виктор



В. Астафьев А. Макарову
28 августа 1967 г.

Дорогой ты мой, болезный Александр Николаевич!

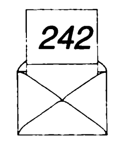
Что же это за напасть на тебя? Столько олухов и бездельников ходит по земле здоровых! И чем глупее, чем непутней, тем могутней. Еще одна несправедливость мудрейшей жизни! Письмо твое привезли мне в деревню, а сегодня я уже дома и готовлюсь ехать в Сибирь. Сделаю кой-какие дела и адью!

Дома ждал меня «Новый мир» с рассказом моим. То-то радость мне! Рассказ при редактуре обхерили мы здорово, и без меня, уже в гранках, они кой-чего шарпанули (особенно мне жалко описание станции Пихтовка и слова, которым я так радовался, когда их нашел: «Наносило от этой станции старым пахотным миром и святым ладанным праздником»).

Но, видимо, потому и выкинули, что тоска по старому миру сказалась, а журнал этот и без того за такие мотивы клянут.

И все равно радуюсь. Рассказ, в общем-то, есть, а в книге постараюсь дать его более полным, тем более что меня в журнале уверяли, будто публикация в «Новом мире» — это своего рода пропуск в цензуре.

Мечты сбываются! Мечтал когда-то издать книжку в Москве — издал, и не одну уже. Почему-то лелеял мечту напечататься в «Огоньке» — напечатался, и даже премию получил. Среди моих писателей-однокашников вроде бы в неполноценных ходишь,



если не публиковался в «Новом мире», — и это осуществилось.

Что осталось?

Издаться в «Роман-газете» и заканчивать карьеру, начинать рыбу удить и писать для себя. Не дожидаясь этого явления, все время я писал «Затеси» для себя. Сделал штук десять, еще надо писать 21. Думаю и в Сибири, в дождливую погоду, поковыряться. Хочется мне почитать эти штукенции тебе, ведь в них я полностью развязал себе пупок, и хотя преодолеть лит. условности и рабью привычку оглядываться полностью не преодолел еще, однако попытку сделал.

Читал я Виктора Лихоносова две книжки. Повесть «Тоска-кручина» просто ошеломила меня и боевитостью, и мастерством, совершенно удивительным для молодого писателя. Очень большой и серьезный художник растет, если его не заломают или сам он себя не изнахратит пьянством, беспутной жизнью и писательским атаманством. Не один уже талантливый парень скопытился на моих глазах, а уж о тебе и говорить нечего, ты уж и вовсе навидался.

Ах, как жалко, что ты не приехал! Так много накопилось разговору. И погода, погода стояла до сего дня неслыханная. В море нашем народ купался до конца августа — такого еще не бывало. И я купался несколько раз. Ходил я на охоту три раза. Одну ночь провел в лесу, и когда друзья мои сморились от разговоров и впечатлений, я просто лежал у костра, слушал тихую ночь, смотрел на звезды сквозь вершины елей и думал, думал и радовался,

что так еще много прекрасного в жизни... А ты в это время в Москве был, в душной, пробензиненной, и с больным брюхом. Так бы мы у костерка того славно посидели!.. Ну что ж, еще посидим! Не падай духом, главное (чуть не описался — падай брюхом, а и брюхом нельзя падать тебе!). Значит — ничем не падай.

Очень много жду от поездки в Сибирь. Я так давно мечтаю побыть там не проездом, побыть одному, посмотреть, подышать, матери крест на могилу наладить и послушать нашей, еще не совсем умершей речи.

Из Сибири я тебе напишу, а пока крепись, дорогой, и колись, коли велено, а я буду надеяться увидеть тебя в октябре жизнерадостным и здоровым, с той надеждой и кончаю свое размашистое письмо (клеток и линеек на бумаге нету — вот и разогнался!).

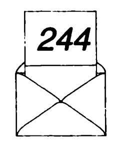
Привет Наталье Федоровне, Толе, Аннете и Юре ото всех наших и от меня, разумеется. Ирина поступает на работу, Андрей сдает по второму заходу, но уже получил две тройки, и, видимо, студента из него не получится. Но я уже устал с ним бороться и хочу отдохнуть от всего этого. Бегу в Сибирь и не жалко мне лаптей...

Целую тебя — твой Виктор

В. Астафьев А. Макарову
12 сентября 1967 г.

Дорогой Александр Николаевич!

Пишу тебе из родного села, из самой что ни на


есть Сибири. Прилетел 2-го, а сегодня уже 12-е. Дни пролетели совершенно незаметно. В городе навестил родителей, затем в Союзе застрял среди местных писателей и после уж в деревню отправился. Здесь началась гулянка, но быстро заглохла, так как я ее не особенно поддерживал, да и картошку всем копать надобно. Лето стояло здесь прескверное, и лишь сейчас наступило погодье. Говорят, что я привез его с Урала. Копали картошку с дядькой и родней. Один раз ходил я на охоту по родным лесам. И леса, и горы здесь отличны от Уральских. Горы зело высоки, и ходить по ним тяжеловато, и леса редки, понизу травой земля взявшаяся — папоротником, борцом, козлобородником, костяникой, и очень красиво в лесах, умиротворенно как-то, и дорожки, как в парках, чисты, травянисты. Речки, где и охотиться приходится, текут в таких высоченных распадках, что голову надо задирать, чтобы вершины увидать. Распадки широки, но заросшие дурниной шибко и смородиннику много, прямо как в саду.

Добыл я четырех рябчиков, а сейчас вот, пока дядька убирает дрова, собираюсь съездить в Дивногорск купить кое-что, и мы пойдем с ним на охоту через горы, на реку Ману. Дня на четыре пойдем.

Был я в местной школе, приглашали. Ну, школа, как и полагается строителям коммунизма, сделана хорошо, а внутрях даже и комфортабельно. Чисто в ней, уютно, и даже кабинеты оборудованные есть. Приняли меня хорошо, с родственной гордостью. Ничего не пишу и не читаю. Чрезвычайно рад этому. Все-то мне надоело, ни на что глаза

не глядели бы, кроме леса и воды да неба светлого.

Как твое здоровье? Часто думаю о тебе, вспоминаю и хочу, чтобы оставили тебя эти хвори злосчастные Привет от меня Наталье Федоровне, Толе, Аннете, Юре и всем пожелание добра и здоровья.

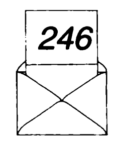
Твой Виктор

В. Астафьев А. Макарову
21 сентября 1967 г.

Дорогой Александр Николаевич!

Здесь, в сибирской деревне, нашло меня письмо Юры, в котором он сообщил мне о всех событиях, происшедших с тобой (Маня переслала мне письмо). Очень меня огорчили и даже больше, потрясли все сообщения Юрины. Не могу себе места найти, все думаю о тебе, что же это за напасти такие? Знаю, что никакие утешительные слова не облегчат болезней и боли, сам много болел и валялся по больничным койкам. Своя боль — больше всех. Но все же пишу тебе, чтобы хоть как-то поддержать тебя в борьбе с недугом и, может, хоть на минуту отвлечь и подумать о чем-то другом, кроме болезни.

Я ходил в тайгу. Был в поселке Сосновка, поименованном мною в «Перевале» Шипчихой. Дома состарились, поселок захирел, пустует, а природа стоит на месте, и это очень даже удивительно по сравнению со скоротечностью человеческой жизни. Река Лена изумительной красоты. Дух захватывает, и



никаких слов нет, чтобы таковую красоту описать. С дядькой и сродным братишкой сплавали на лодке, и я стрелял рябчиков. Десятка полтора ухлопал птичек, а рыбы не добыл. Рыбы осталось на реке мало, все расшуровано тракторами и сплавом. Потом шли через наши деревенские когда-то заимки, а ныне там пустуют избы и не убранные хлеба чьего-то подсобного хозяйства. Запустение, одичание и рядом народище, электролинии на Красноярскую ГЭС. Какое-то наслоение одиннадцатого и двадцатого века — все перепуталось.

Прислали мне вызов в Москву на пленум, но я не поеду, немножко обрел душевный покой, так не хочется его расходовать попусту, да и нездоровится тоже. Собираюсь уже домой и дня через три улечу, видно. В октябре, наверное, буду в Москве и надеюсь увидеть тебя уже дома, в уже подходящем состоянии.

Береги себя, дорогой! Бодрись, если можешь!

Женщинам твоим, кроме сочувствия, шлю низкий поклон, а Юре большое спасибо за письмо. Кланяюсь Толе. А тебя крепко целую и желаю здоровья, которое, имея, мы не ценим, а потом вот...

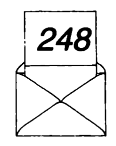
Твой Виктор

А. Макаров В. Астафьеву
10 октября 1967 г.

Дорогой Виктор Петрович!

Вот я и пишу свое первое произведение после

болезни, еще не покинувшей меня. Ну что тебе сказать? Худо. Дрянно. Резали меня, вынули несколько камней, потому что у меня началась желтуха и вообще уже было все равно. Из всей операции запомнилось только то, как хирург трясет меня и чуть ли не колотит и кричит: «Александр Николаевич, операция кончена». А я ему хочу ответить «с чем вас и поздравляю», но, видимо, только хочу, а не могу, поскольку он продолжает трясти. Наконец, я что-то промычал и вернулся к жизни. И тут же подумал — жаль, опять начнутся всякие истязания. И не ошибся. Вначале в хирургической палате меня буквально истерзали так называемой капельницей — втыкают тебе в вену иглу, а от нее шланг к банке, привешенной на столбе, и туда вливают литра 2, а то и 4 всякой муры — плазмы, антибиотиков, физиологической жидкости, и все это по капле часа четыре, а то и пять вливается в тебя. И так две недели. Потом перевели в терапевтическое отделение, где уж ничего не вливали, а только кололи. Лежали там почти одни инфарктники, целый день и ночь открывали окна, пока я не схватил воспаление легких. Но и это кончилось, и тогда Наташа забрала меня домой, где я и валяюсь вот уже недели три, пробуя иногда работать, иногда гулять, иногда есть. И все без охоты. Какое-то стабилизированное состояние — ни лучше, ни хуже. Самое забавное то, что живот-то не перестал болеть, как ныл, так и ноет целый день, разве что сделают укол. Стал лечиться у гомеопата, веселой и бодрой старухи лет 80, известной всей Москве, — Абашидзе, которая, во-первых, сказала, что резали меня



зря, и хотя вытащили пять камешков, можно было и с ними жить, поскольку к моей болезни это имеет малое отношение (если вообще имеет), а во-вторых, по ее рецептам я каждый час глотаю какие-то одинаковые крупинки под разными названиями. Дошли слухи, что в Болгарии такие болезни вылечивают. Наташа развила бурную деятельность без моего ведома, и оттуда пришли сразу три вызова: от Общества болгаро-советской дружбы, от Союза писателей и от министра культуры Павла Матева (он учился у нас в Литинституте). Паспорта получены, деньги обменены, и вот завтра мы летим в Софию. А зачем? Но уж теперь не отступишь, когда все и вся взбулгачили. Но ведь там примутся лечить по-своему, а что мне делать с гомеопатическими лекарствами, которые мы все же набираем с собой. Поистине черт-те что. Ну да пусть идет, как идет — этой любимой тургеневской поговоркой я всю жизнь живу.

Большое тебе спасибо за твои письма, особенно за те, что ты писал мне, пока еще ничего не знал о моих злоключениях. Уж очень они были хороши и меня радовали тем, что бродишь ты там по енисейским крутоярам. Когда-то ведь там стоял Чехов и думал: «Какая чудесная жизнь со временем осветит эти берега». Вот видишь, и осветила: воздвигли Красноярскую ГЭС.

Вернусь ли к празднику — не знаю. Командировка у меня на полтора месяца, а виза вообще до марта. Ну да больше месяца мы там не просидим, не вытерпим, а уж пойдет ли дело на лад или нет, один бог знает. Или опять придется вернуться к моей го-

меопатичке, которая обещает меня вылечить за два года. Но если у меня все так же будет ныть брюхо, вряд ли я эти два года прожду, я ведь нетерпеливый. А впрочем, что я могу сделать. Как писал когда-то поэт-конструктивист Н. Туманный (теперь он пишет, как Н. Панов, приключенческие морские романы «Боцман с «Тумана» и др.), так вот как он когда-то писал:

Сам я револьвера не имею,
Вешаться ужасно некрасиво.
Яд дают в аптеке по рецепту,
Прыгнуть в воду не хватает силы...

А ты, наверное, уж в счастливой Аркадии, кою, как известно, населяли именно пастушки́ и пастушки. Дай бог успеха! Молодец, что не приехал на пленум, как мне передавали — скука была смертная.

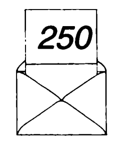
Напиши, но все же на московский адрес. Можно бы и на Софию, Союз писателей, но по своему опыту знаю, письма туда идут недели три и ни к чему это. А я тебе напишу оттуда обязательно о своих впечатлениях, хотя какие впечатления в Софии, где я уже был и, кажется, все перевидал.

Кланяюсь Марии Семеновне. Привет Андрюше и Ирине. Все мои тебе шлют поклоны, а я обнимаю тебя. Вот так-то.

Твой А. Макаров

Да, книжка моя вышла*. Но вот уж месяц есть

* Речь идет о книге «Поколения и судьбы» (М., 1967).



один всего экземпляр, брошюруют литературу к 50-летию.

Твой А. Макаров

В. Астафьев А. Макарову
18 ноября 1967 г.

Дорогой мой Александр Николаевич!

Пришла открытка из Софии от вас с Натальей Федоровной! Как ты далеко! Ведь всякая заграница для меня — это уже конец света, где-то за турками, арабами и за Ньюфаундлендом!

А я пишу тебе из Быковки. Сегодня ночью выпал первый снег и сразу — по колено. Сырой, пухлый. Собака валяется в нем, и вид у нее такой, будто она рехнулась.

А до Быковки я в разных палестинах побывал! Леший меня дернул ввязаться в поездку с бригадой журнала «Молодая гвардия» на Кубань. Думал, места-то памятные, госпиталь, воспоминания и т. д. Ничего путного из этого не получилось. Кубанская земля жирная, вся обработанная. Какая-то искусственно-ручная. А народ там сытый, жирный даже, довольный собою и жратвой своею, а больше его ничто не интересует — литература какая-то там! В сорок пятом году в станице Васюринской, когда мы приходили в клуб, а кубанские казаки и казачки, занявши скамейки, сидели и семечки на пол лузгали, а когда им говорили, чтоб они место костыльникам уступили, они орали: «Ишь воно, ранетый, так хай на топчану лежить, а до клуба нэ ходыть!» Дрались

мы с ними, костыли в ход пускали, а они ножи и дреколье.

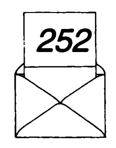
Ничего с тех пор не изменилось, народ меняется медленно. И так ли любы стали мне и еще больше дороги наши бабочки — пьющие, добрые, бедные и какие-то застенчивые в проявлении чувств. Как дома — живу я середь них.

А побывал я в Краснодаре еще и в госпитале бывшем. Волновался, а как зашел в помещение (все-таки есть кто-то, бог или парторг на небе!) бац! меня по носу и по голове запахом лекарств и эфира. Уколы ставили в этот день школьникам. Так с этим ощущением удушья я и покинул Краснодар, да и бригаду тоже. Заехал в Воронеж к Юре Гончарову. Хорошо заехал. У Юры своя машина. Все он мне показал. Были на местах боев и видели там... неубранные кости солдатские и тучу воронья.

Памятники ставим. Слеты делаем и помпу всякую, пионерики-следопытики шастают по стране в поисках героев, а вот похоронить нашего брата — некому. Есть какое-то постоянство у нас в равнодушии и жестокой черствости к тем, кто отдает Родине и народу все, а вот тем, кто языком болтает, крутится на глазу и шкоду всякую делает, — тем все и заботы, и блага.

Потом я вернулся в Москву — звонил вашим, но не ответили, видно, дома не было. А когда вперед летел, то разговаривал с Юрой, и он меня успокоил в отношении тебя.

Дома меня ждала верстка повести из «Молодой гвардии» (лучше поздно, чем никогда!) и редактура сборника из «Совписа». Верстку требовали вернуть



в три дня, редактуру сделать за неделю. У нас ведь все так — годами издают, но автора торопят.

Я, конечно, праздник побоку и за работу. В срок все равно не уложиться, но работал так много, что заболела голова и единственный глаз начал отказывать — конъюнктивит начался. Старуха моя испугалась еще больше меня (они, бедные, видимо, больше нас понимают нас) и вытолкала меня в деревню, а сама осталась зубы лечить.

И вот я в Быковке. До вчерашнего дня, т. е. до 17 ноября, было тепло, сухо, и река не встала до сих пор. Лето и осень удивительные были, не перед погибелью ли!? Народишко так чего только не говорит! Любая проруха в природе и в народе истолковывается, как «знамение»! Космонавтика и кудесничество, шарлатанство и ворожба, лопата и ероплапы — все вместе! Все навалом, все в куче!

И вот, значиться, ударился я в рыбалку, а харюзот под лед убрался, и я его оттедова должон достать! Достал сначала 9 щук, а вчера 11 щук, а сегодня пошел и первым делом проступился левой ногой, начерпал в сапог, да с тем и возвернулся. Не бывает худа без добра — не собрался бы еще несколько дней тебе написать. Завтра уезжает от меня Алеша (тот самый, глухонемой сродный братишка, которого я имел честь описывать в рассказах и повести), явился в отпуск и все время меня ругает за неналаженные рамы и прочее. Говорит: «Витя — голова, во! А хозяин тьфу!» Я говорю: «Нито ты захотел, чтоб и голова, и хозяин, так не бывает, да и голова, говорю, крученевая, мозги в ей хвюрер своротил

набок, вот и получился от этого писатель, а то б коренной человек был, рамы бы наладил, губу отремонтировал и бабе своей особо не досаждал бы...» Смотрит братан рот открывши, по губам что поймет, а что нет, а я с ним толкую да толкую.

Собирался в это время писать «Пастушку», да вот голова-то барахлит — рыбалить буду, потом, глядишь, и налажусь.

А как ты там, в булгарах-то? Тоскливо, поди? Но лишь бы выздоровел, на ноги встал да ко мне в Быковку бы добрался — здесь бы отошел душою. Больно хорошо! Тихо, снежно и ни единой души кругом. Да, событие! Провели ведь электричество нам к пятидесятилетию. Так что мы теперя цивилизованные! «Русь культуришь? Ну, а х...ш!»

Вот на этом важнеющем известии я и заканчиваю свое послание. Пишу домой, а там ребята или переправят тебе письмо, или ты домой приедешь и прочтете.

Желаю тебе самого главного — скорее поправиться, а Наталье Федоровне беречь силы, а мужества ей не занимать.

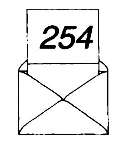
Держите хвост дудкой, оба!

Целую крепко — твой Виктор.

В. Астафьев А. Макарову
23 ноября 1967 г.

Дорогой Александр Николаевич!

Девятнадцатого уехал от меня, из деревни, бра-



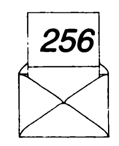
тишка Алеша, и отправил с ним тебе письмо, а сегодня, 23-го, снова пишу, чтобы поделиться с тобой моей большой радостью. Сразу же после отъезда братишки, пользуясь тишиной, одиночеством и блаженством покоя, сел я писать «Пастуха и пастушку», попробовал написать вступление и в течение трех дней начерно написал повесть. Не спал, конечно, не ел почти, так, что-то жевал на ходу, а больше чаек пил (готовить-то некому!) и все писал, писал. Сегодня я поставил точку на черновом варианте, и захотелось мне с кем-то поговорить, а с кем же я могу говорить, как не с тобою, моим добрым другом и искренним почитателем!

Сложное у меня сейчас чувство — боюсь перечитывать, что написал. Много сомнений в душе, что-то не так вышло, как задумывалось, что-то тянет на слезу и сентиментальность повесть-то, а настрой ее беспощадно-суровый. Это должен быть вопль, плач о погубленной любви целого поколения, и писать об этом посредственно, даже хорошо нельзя, только очень хорошо, только отлично, иначе не стоит и браться. Я столько лет готовился к этому, боялся повести и сейчас боюсь, перечитавши ее, — разочарования боюсь. Недоделки, пропуски, корявости, неточности меня не пугают — у меня будет время пощупать каждую строчку, переписать, если потребуется и десять, и двадцать раз, но получилось ли главное? Звук, настрой, вроде бы остался — это начало. Но что-то мало «изнутра», много слов. Тут беда еще в том, что он и она всю ночь вдвоем в грехе, на грани отчаяния, истерики и потопившего их

чувства. А опыт общения с женщинами у меня слишком мизерный, мало я интимно общался с ними в силу своей застенчивости, миру не заметной. И вот отсутствие такого опыта почувствовалось, когда я писал, не из чего было выбирать и отбирать, а придумывать в этих делах ничего нельзя и невозможно. Ну что ж, почитаю старых грешников — Бунина, Цвейга, Толстого — поучусь еще у них, авось помогут старику, как помогали уж сотням, если не тысячам таких, как я. Повесть (я дал ей подзаголовок: «Современная пастораль») вышла, как я и предполагал, чуть побольше четырех листов — при доделке вытянет на пять, у меня все вещи потом дописываются, ибо черновики я пишу быстро, строю каркас, а потом уж дорубаю, доделываю и дописываю. Вот так, дорогой мой. Пишу я тебе и не знаю, как ты? Где? Каково твое здоровье? А шибко мне знать это хочется.

Завтра я поеду домой. Все харчи кончились, и главное, искурил сигареты — смолил, когда писал, как пароход. Река еще не встала, как попадать на ту сторону буду — одному богу известно. Погода все еще квелая. Идет и идет сырой снег, по колено уж выпал, а мороза все нет и зимы настоящей нет. Лед на Быковке съело мокрым илом, и теперь рыбачить никак стало невозможно, ни по-летнему, ни по-зимнему, а последний раз я все же вытащил из-подо льда целых два десятка хариусов.

На охоту бродил тут, чтобы дать голове маленький роздых, убил двух белок. Белки нынче много у нас, но собаки у меня доброй нет, а Спирька мой только по блинкам и по хлебу с маслом охотник.



Глаз у меня опять разболелся — веко распухло и глядело все в красных жилках и ровно бы песок в нем. Попробую сегодня принять снотворное и дать глазу отдых. Всего меня еще трясет. Вот сейчас голову горячей водой помыл и полотенцем мокрым потерся, так вроде бы полегче стало. Какая тяжелая, сжигающая, как на огне, нас наша работа! Да мало кто знает об этом — видят лишь, когда шляемся, пьем и Ваньку валяем!

Обними за меня и поцелуй Наталью Федоровну. Кланяюсь Юре, Аннете и Толе. Каждодневно думающий о тебе, пребывающий в Быковке —

твой Виктор

... Приехал в город, достиг дома — на стиральной машине, стоящей в коридорчике, телеграмма — детки получили и даже не распечатали.*

Разрываю бумажную перепонку, читаю раз, другой, третий:

«Александр Николаевич умер — Наташа Макарова». «Александр Николаевич умер...»

Когда жена вернулась из магазина, рассказывала она после, застала меня на кухне, в шапке, в сапогах, со старым рюкзаком за плечами. Я сидел и горько плакал. И, давно не видевшая меня в слезах, она бросилась ко мне:

— Что случилось?

---

* Печатается по книге В. Астафьева «Зрячий посох» (М., 1988).

Вместо ответа я протянул ей телеграмму.

Через несколько часов первым попавшимся поездом ехал я в Москву.

...С опозданием на двенадцать часов рано поутру мы примчались в столицу. Никто меня не встречал, не слышалось знакомое: «И чья же это папа приехала?» Со стесненным сердцем, с заранее возникшей виной перед кем-то и перед чем-то сел я в такси и поехал по почти пустынному Садовому кольцу на Хорошевское шоссе, в дом Макаровых, стараясь не думать, и все же непрерывно думая о том, что там меня ждет...

Встретила меня гнетущая тишина, какой и положено быть в доме покойника.

...Шторы на окнах были полузакрыты, и от этого комната выглядела еще сумрачней, пещерней. И среди этой комнаты, сделавшейся просторней без тахты, стола и стульев, в небольшом гробу сиротливо лежал маленький, усохший человек, в котором с трудом уже узнавался Александр Николаевич Макаров.

Говорят: «болезнь съела». Да, это та болезнь, которая действительно съедает человека, испепеляет плоть, мускулы, волю, силу, характер — она уничтожает человека всего, без остатка, и только потом приканчивает, особенно такой вот рак — рак поджелудочной железы. Через несколько лет на моих глазах от этой же болезни этой же самой железы, которая, сказывают, и величиной-то всего ничего, будет умирать мой брат, и мне доведется увидеть, что делает с человеком эта проклятая болезнь, — божья кара, наверное, детсадовская шутка по сравнению с нею.

Я пододвинул стул и долго сидел возле гроба, глядя на обнажившиеся кости лица покойного, на обтянутые, почти обклеенные черной, горелой кожей. На всем лице лежала печать долгого, невыносимого страдания, исчертившего морщинами мук лоб, подглазья, бороздами, глубокими и темными, будто плугом проведенными, пролегали они от угла рта и крыльев носа, и только поза покойного с покорно сложенными на груди исхудалыми руками, с плотно, в вечном сне смеженными глазами, свидетельствовала о том, что муки все-таки кончились, что страдающее тело, плоть его и дух наконец-то обрели успокоение, и хотелось по-древнему, по-старушечьи перекреститься и сказать: «Слава богу, отмаялся болезный...»

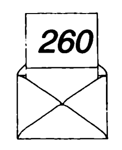
О чем я думал, сидя у гроба покойного почти до самых сумерек? Конечно же, о нем прежде всего, о его жизни, потом и о нас, остающихся без него, и о писателях, и о литературе, да и о родичах его тоже, которые от горя и безалаберности еще не совсем понимали, как скоро я убедился, какая потеря их постигла, что выпал стержень, державший всю постройку, и семья немедленно развалится, расползется по разным углам.

Но главное, о чем я думал (и что заслоняло пока близлежащие семейные неурядицы и раздоры), это о том, что в современной нашей литературе некому пока заменить Александра Николаевича, что потихоньку, исподволь, как бы находясь в стороне, он все время следил за нашим «хозяйством», пристально следил и, опять же незаметно для многих, но ощутимо влиял на него. Я

более чем кто-либо знал об этом. Немалых духовных сил стоила ему эта забота о «нашем хозяйстве», о чем свидетельствуют не только опубликованные здесь письма ко мне, — а писал он их много и многим, — но и вся работа его, весь труд, весь путь, не всегда ровный, но всегда выверенный сердцем, случалось, и против него, но вся жизнь и работа Александра Николаевича давала полное право сказать у его гроба любимые им стихи: «За каплю крови, общую с народом, мои вины, о, Родина, прости...»

...Дело с похоронами осложнялось. Было третье декабря, через день праздник Конституции, а там еще и выходной. У нас по стране вообще, в столице же в особенности, задолго до выходного или праздника прекращается всякий труд, останавливаются службы. Надо было хлопотать, спешить, и назавтра я отправился в похоронное бюро, что в проезде Сапунова, по-за ГУМом, рядом с давно известным мне издательством «Советская Россия».

Я ожидал увидеть скрюченного, с разлитой желчью, беззубого старикашку, занимающегося похоронными делами, ну, как у Шекспира или на картинках эпохи Возрождения. Но, отсидев часа два в довольно представительной прихожей, с секретаршей, с вывеской «Не курить», с машинкой, с телефонами, попал к дородному высокомерному еврею, который утомленно спросил: «Ну что там у вас?» И только я назвал фамилию, не дав мне договорить, он замахал руками: «Нет, нет! С Новодевичьим ничего не выйдет! Не выйдет, не выйдет! Да, мне звонили, и снизу, и свер-



ху, нужно решение МГК на этот счет, а решения не будет — не та, извините, номенклатура. Советую вам, и это вернее — Ваганьковское кладбище, иначе упустите сроки и на него не попадете, и вас таки загонят за город, куда-нибудь в Митино...»

Я знал, как трудно жить в столице, но мне еще предстоит убедиться — каково-то умереть здесь и попасть в место упокоения, на кладбище. Организатор я никакой, толку от моего визита никакого не получилось, и ни от кого из нас толку не было. За дело взялась сама Наталья Федоровна, походка ее ускорилась, голос окреп, на моих глазах воскресал и поднимался для сражения боец.

Но ничего существенного и она не добилась. Договорились было на праздники отвезти покойного в холодную часовню Ваганьковского, старушонки-сторожихи и плату за это не брали, «грех с покойного». Макаровы уже домой направились, как одна старушонка, самая, видать, смекалистая и «политицки» подкованная, поинтересовалась: «А не коммунист ли покойник-то?» И ей с гордостью ответили: «Коммунист, да еще какой! Дорожил этим званием, стойко нес его по жизни!»

Старушки поджали губы и наотрез отказались принять покойного в часовню. «Нет, нет, тут божье место. Везите его в свою партийную организацию».

Наступили праздники. Писатели и всякое начальство разъехались на дачи, покинули свои кабинеты — надо было ждать рабочих дней.

...После праздников гроб с телом покойного выставили в Центральном клубе литераторов. Зву-

чала музыка, были венки, много венков, в них утопал гроб с маленьким, как мне показалось, уже уставшим телом покойного. Не глядя на непогоду и глухой послепраздничный день, в ЦДЛ пришло довольно много народу проститься с покойным — многим он успел сделать добро, давно работал в «литературном цехе», и, кажется, кроме покойного Ермилова, у него не было в литературе настоящих врагов, или скорее недругов.

Все было как обычно: шарканье ног, сдержанный говор, смена траурных повязок на рукавах, которые я вместе с кем-то надевал на послушно подставляемые рукава пиджаков. И только скребнуло меня несколько раз вопросом: «Ты что, специально приехал на похороны?» Впрочем, чего же удивляться: у нас, как я уже писал, и детки не всегда приезжают хоронить родителей, тут же всего лишь друг.

...Было сказано несколько добрых, человеческих слов на прощанье, гроб вынесли на улицу, где уже не шел, сплошной кашей плыл, перемешивался на земле в жидкую грязь мокрый снег.

...Я давно заметил, когда хоронят славного, доброго человека — испортится погода: метет, крутит — не то скорбит природа, не то она хочет, чтобы похороны были трудными, надолго запомнились бы и помаяли душу остающихся жить.

...Долго и уныло ехали в крематорий.

Очередь. Стоим под дождем. Совсем поредели ряды провожающих. Родственники, калязинские друзья, сын погибшего шофера Юры, стиснутый горем и упорно не желающий надевать шап-

ку; непривычно трезвый, съежившийся Толя в мокром пальтишке и всего несколько писателей. Я запомнил лишь Борщаговского Александра Михайловича и Павла Железнова — «Пашку», как его называл в письмах покойный, — бывший беспризорник и детдомовец, там и получивший такую выразительную фамилию, умел ценить дружбу и не забывать друзей: если б с неба валил не мокрый снег, а камни — он все равно был бы здесь.

Я иногда горжусь словом «детдомовец», как гордились нашим братом и командиры на фронте — эти не предадут, не выдадут, и если идти в атаку, в окопе пережидать не станут.

Наконец-то попали в здание крематория. Никогда я не был в нем, озираюсь, глазею — что-то от фантастической архитектуры, что-то и от церкви или от костела. Распорядительница, пожилая, строго одетая, предупредительная женщина, указала нам занести гроб в подобие кладбищенской ограды, поставить на подобие скамьи. Мы все это проделали. Нам указали расступиться, стать по бокам гроба. Заиграла музыка — виолончелист, несколько скрипок, альт и еще какие-то струнно-щипковые нежные инструменты заиграли древнюю торжественную мессу, и зарыдал Толя, закрывшись шапкой. Дрогнуло лицо у красивого парня — сына покойного друга Александра Николаевича, и брызнули по нему слезы. Лицо Аннеты будто оплеснули из котелка — все оно было мокро от слез и снега, мокрые волосы выбились из-под темного и тоже мокрого платка; с судорогой перекошенным ртом стояла Наталья Фе-

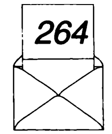
доровна, ее поддерживали, утираясь рукавами, калязинские мужики.

Говорили прощальное Железнов и я — не помню ничего из того, что говорил Железнов, из своей речи застряли в собственной памяти слова: «Я вторично осиротел...»

И вот женщина-распорядительница вежливо, но настойчиво удалила нас за ограду, возникли откуда-то двое молчаливых мужчин, умело и быстро приколотили крышку к гробу, расступились. Послышалось жужжание, легкий шорох, точно такой же получился звук, какой издавал старый кинопередвижной аппарат — и гроб вместе с подставкой двинулся вниз, во все чернее и глубже открывающуюся дыру, и чем ниже, тем он быстрее исчезал, мчался, улетал...

И вдруг мягко хлопнули створки и закрыли яму, не могилу, не щель, не ровик, вот именно пустую, без стен, без дна яму, ведущую в преисподнюю.

И я, да и все провожающие, стояли, оглушенные мгновенно свершившейся процедурой, все даже и плакать перестали. Как же это? Куда бросить горсть земли? Куда кинуть мокрые от слез платочки? И где то время, тот горестный момент, когда не родные, «чужие» мужики возьмутся за лопаты, и как ударятся первые комья о крышку гроба и донесется глухой, уже как бы нездешний звук, с новой силой, скорбью и отчаянием зарыдают родные и близкие, потом, словно бы искупая свою вину перед покойным, вспотевшие мужики грязными лопатами разровняют, старательно прихлопают бугорок, и кто-то упадет, зароется



в могильную землю лицом и долго не смогут его отнять от этой земли, увести от могилы...

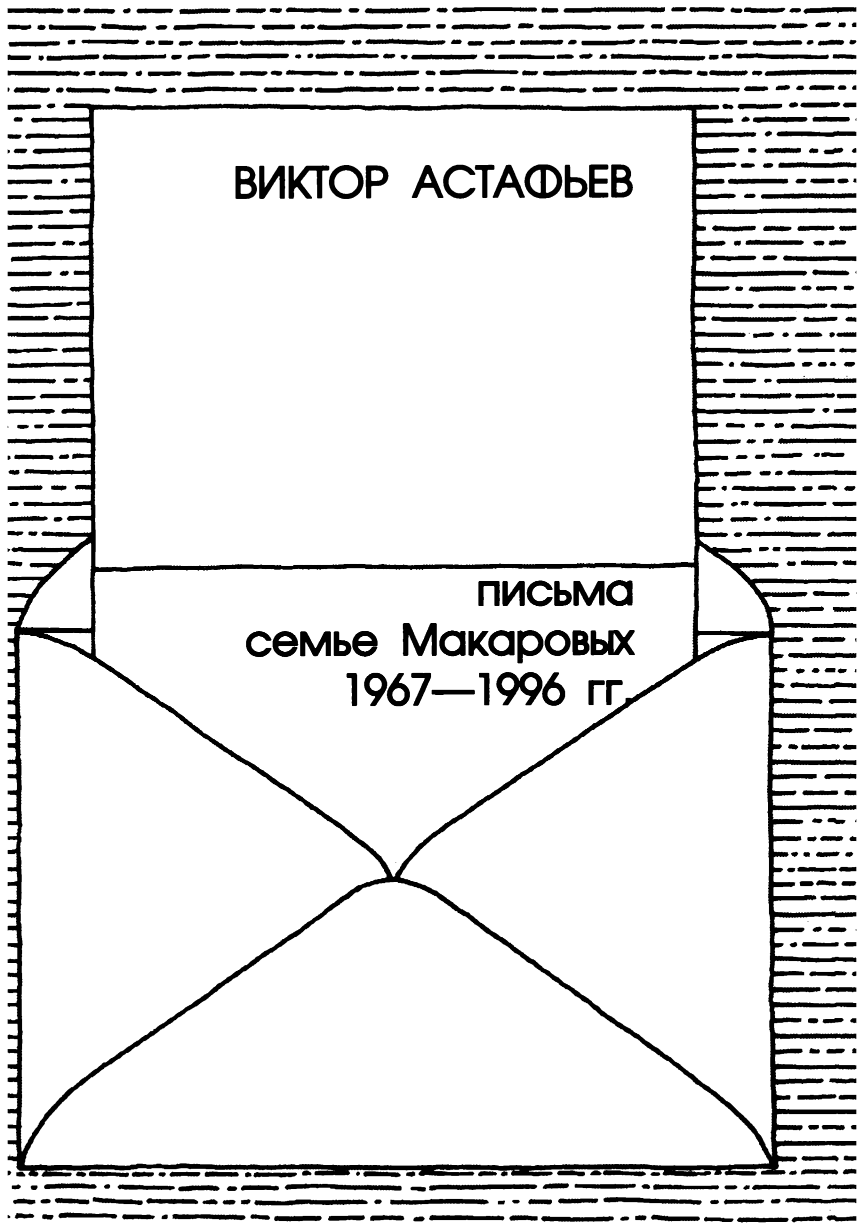
Где все это? Куда делось? Что за спектакль, что за действа были тут и так быстро, так неожиданно закончились?..

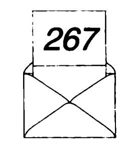
Должно быть, не одни мы здесь такие случались, и распорядительница еще громче и настойчивее сказала: «Всё, всё, товарищи! Уходите! Послезавтра получите урну с прахом. Будьте любезны. У нас очередь...»

Я обернулся: по ту и по другую сторону холла, на специально для этого приготовленных скамьях стояло уже десятка полтора разномастных и разного достоинства гробов, во всех них бледнели лица покойников с заострившимися носами. На улице, куда я поспешно выскочил, — очередь из домовин, венков и маленьких скорбных процессий продолжалась — за праздник, пока не работали крематории, в огромном городе поднакопилось мертвых.

«Боже мой! Боже мой! — сидя в уголке автобуса, выделенного на похороны Литфондом, трясся я от плохих рессор, от холодной мокрети и все нутро обнявшего озноба, какой случался у меня лишь после ранений, в санбате или госпитале. — Боже мой! Как страшно жить-то...»

...И все повторялась и повторялась в моей голове поговорка кафров, которые, прощаясь, говорят: «Отныне у каждого из нас будет одним другом меньше».


ВИКТОР АСТАФЬЕВ
письма
семье Макаровых
1967—1996 гг.



7 октября 1967 г.

Дорогая Наталья Федоровна, Аннета, Юра и Толя!

Возвратившись из Сибири, я еще не писал вам, но надеялся в скором времени попасть в Москву, но поездка пока все еще в тумане, и потому я пишу, чтобы узнать о состоянии Александра Николаевича. Мне прислал из «Знамени» письмо Уваров и написал несколько тревожных слов об Александре Николаевиче.

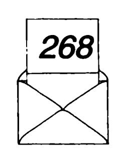
Знаю, что вам сейчас не до писем, что горе в доме, но все же, хотя бы мужиков прошу известить меня, что и как? Где сейчас Александр Николаевич, в больнице или дома?

Я, конечно, ничем не могу облегчить ни ваше горе, ни болезнь моего славного и доброго старшего друга, но, может, мне подъехать в Москву и повидаться хотя бы с ним, поговорить?

Напишите несколько слов или дайте телеграмму, я немедленно брошу все мои никому не нужные дела и приеду.

Всех вас прижимаю к сердцу.

Ваш Виктор



9 января 1968 г.

Дорогая Наталья Федоровна!

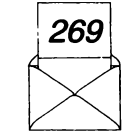
Простите, что я долго Вам не отвечал. Расклеился. Видимо, мужицкая моя натура все более превращается в интеллигентскую, и я, так много схоронивший людей на своем небольшом веку, очень трудно пережил похороны милого Александра Николаевича. Еще в вагоне я почувствовал, что пружины, сжавшиеся во мне, отпускаются, и дома слег.

Почти все во мне заболело, и ни спать, ни плясать я уже не мог. Месяц перемогался, все надеясь, что вернутся ко мне бодрость духа и рабочее состояние, но этого не произошло. Раньше — я был сильнее.

Сейчас я в больнице. Исследуюсь, лечусь. Отсюда и пишу Вам. Больница хорошая, но все равно больница. Надеюсь, что дней через десять выпишусь более исправленный и тогда смогу подумать о делах и, может быть, приняться за них. А пока все был подавленный, и ни на что не хотелось смотреть, а не то, чтобы писать. И в деревню не смог уехать из-за нездоровья и по разным другим, докучливым и раздражительным делам.

По этой же причине, а еще по той, что никак не могу приучить себя к мысли, что Александра Николаевича нет в живых, я не могу ничего и написать о нем. Пробовал перечитывать письма, и это не получается. Очень уж как-то не по себе делается — вроде бы память начинаешь перебирать, а между тем...

Между тем Маня выложила открытку на стол, последнюю от Александра Николаевича, я пришел откуда-то, схватил ее читать, а потом мысль вдруг:



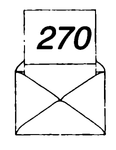
«Позвольте! Но Александр же Николаевич!..» Глянул — число старое.

Словом, только спустя время, а какое — я и сам не знаю, смогу я что-то написать об Александре Николаевиче в прошедшем времени, а пока... Пока ничего не работается. Кроме того, часть писем А. Н. находится в деревне и надо туда ехать и перечитывать, обдумывать, начинать как-то входить в работу.

Думается, Вам нужно принять предложение «Совписа» об издании однотомника А. Н., а потом уж Гослитиздат, само собой, потому что в «Совписе» хорошо знают и любят А. Н. и все сделают для него хорошо, а в Госиздате к этому относиться будут, как к обычной работе и только.

В отношении могилы — конечно, хорошо бы привезти камень из Калязина, с родной земли А. Н., но это как приложение, а вообще могилу нужно сделать без фокусов, по-человечески, с мраморной плитой и прочим. Живые могу тешить блажь свою и по-другому, а усопшие достойны человеческого почтенья нормального, без выкрутасов выраженного, т. е. согласно ритуалу, установленному тысячелетиями людьми крещеными и уважающими память. Если Литфонд и Союз не соблаговолят сделать положенное, мы сами изыщем возможность (это те, кто чтит память А. Н.) собрать средства на надгробие и все, что нужно к нему.

Вот пока и все. Настроение у меня совсем не писучее, и потому я закругляюсь. Приветы от меня Аннете и Юре, Толе и второму Юре, а также всем, кого я видел и знаю из Ваших близких.



Будьте здоровы! Рад, что Вы помаленьку налаживаетесь и уже становитесь деятельной, и это значит время излечит вас, как излечило не одну женушку и не одного мужчину, оставшихся сиротами на этом не очень уютном свете.

Ваш В. Астафьев

3 февраля 1968 г.

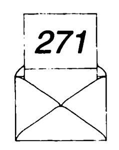
Дорогая Наталья Федоровна!

Я только что вышел из больницы, но еще бегаю в поликлинику. Дела, разумеется, запустил. Повесть не продвигается. Весь февраль буду заниматься редактурой книги. С 1 по 6 марта в Ленинграде дискуссия по военной литературе. Когда я вернусь с нее, немедленно уеду в деревню и там напишу об Александре Николаевиче все, на что я способен. Сейчас я подбираю его письма и перечитываю — они сами по себе так умны и интересны, что к ним иной раз и добавлять ничего не нужно. Словом, в марте я возьмусь за это дело. Надеюсь, это не поздно?

Мы все живем по-старому. Андрей в армию собирается, Ринка работает, а Маня шти варит, штаны нам стирает и пробует урвать время для писаний, но времени у нее чаще всего хватает лишь на короткий сон.

Передайте привет Аннете, Юре и Толе.

Ваш — Виктор



4 июня 1968 г.

Дорогая Наталья Федоровна!

Я побывал в Югославии. Звонил Вам на том и обратном пути, но, видно, дома никого не было, а я очень торопился, и отыскать кого-либо из вас у меня времени не оставалось. Приехал я 1 мая домой, а через два дня уже провожали Андрюшу в армию, Мария тяжело переживала и переживает разлуку с любимым сыном. Он уже в Германии у нас, и никак не можем дождаться от него письма.

Воспоминания об Александре Николаевиче я начал еще до поездки за границу, но они так пишутся глубоко и далеко, что закончу я их не скоро, а если и закончу, то едва ли они подойдут для печати. Это скорее не воспоминания, а личные размышления о судьбе художника в наше время, судьбе непростой, с глубоко запрятанным в ней трагизмом положения современного умного человека.

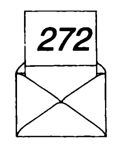
Сейчас я вообще ничего не пишу, очень плохо себя чувствую, какое-то общее недомогание угнетает уже длительное время. С 12-го числа мы с Марией поедем в Вологду, и, может быть, поездка встряхнет маленько и возбудит охоту работать, а пока глаза не видали бы чернил.

Наше издательство будет печатать статью Александра Николаевича отдельной книжкой*, очевидно, в будущем году, а может, и иначе.

Новостей особых нет. В доме пусто и тихо, так

---

* Речь идет о книжке «Во глубине России...» (Пермь, 1969).



собираемся в деревню. Свердловская киностудия предлагает мне работу над фильмом «Звездопад». Я дал согласие, все не так пусто и уныло время будет идти.

Как только закончу я писать об Александре Николаевиче, и коли выберу что-то из писанины для печати, немедленно пришлю. Читал я воспоминания Мусы Гали. Так писать я не хочу и не могу. Лучше совсем не писать, чем отделываться дежурными любезностями.

Привет Аннете, Юре и Толе, и всем Вашим.

Виктор

Конец 1969 — начало 1970 г., д. Быковка

Дорогая Наталья Федоровна!

Вот я написал тут несколько строк для музея. А больше ничего написать не могу. Нужно время... Все мои попытки написать воспоминания кончаются ничем. Чтобы их написать, очевидно, нужно приучить себя к тому, что это именно воспоминания, то есть оборвать что-то в себе, заставить себя думать о человеке как о покойном, ушедшем, а я этого одолеть в себе не могу. Да и не хочу, наверное. Слишком одинока жизнь современного русского литератора, слишком редко одаривает она его сердечной привязанностью, и оттого, должно быть, продолжают жить живой жизнью и звучать какие-то струны, что ли, и нет сил их оборвать. Может, они со временем оборвутся сами?

А пока... пока заставить себя, пересилить, умерт-

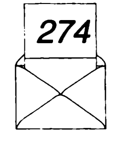
вить что-то в себе я не в силах. Может быть, осенью или зимой, когда плоха погода и когда особенно чувствуешь глушь и беспросветность в душе и пронзительную тоску, и захочется побеседовать, излиться, что ли, может быть, тогда я что-то и напишу. А пока не торопите меня и не обязывайте делать то, что делать выше моих сил.

Я начинал несколько раз и бросал. Ходил и хожу по тем местам, где был когда-то Александр Николаевич, и перебираю подробности жестов его, разговоров, но все это не в прошлом, все это вот сейчас, все это в живом виде.

А разговоры наши, в большинстве своем, были дружеские и, значит, не для оглашения в нашей разнузданно-подозрительной печати. Мне и боязно даже давать кому-то дотронуться до этого, щупать это руками, в большинстве своем нечистыми.

Если я что-то и напишу (напишу если?), то много — это будет скорее для себя, для памяти, это будет продолжением наших бесед о жизни, о литературе и о многом другом.

Я читал в «Вопросах литературы» все, что там напечатано. Саша Рекемчук написал превосходно. И я не то чтобы позавидовал, а подивился тому, что он смог, а я вот не могу. Я читаю все, что пишется об Александре Николаевиче. Может быть, мое благоговейное отношение к нему не дает мне написать о нем просто так, просто по поводу того, что он умер — эти мысли оскорбительны для меня. И скажу Вам прямо — меня несколько коробит Ваша такая деятельная и суетливая забота о том, чтобы ско-



рее разворошить все, вынести на свет, опубликовать, обнародовать, дать повод к пересудам...

Вы боитесь, что Александра Николаевича скоро забудут? Что примеров равнодушия к памяти хороших людей тьма!?

Но забудут те, кто, стало быть, не любил его, не дорожил памятью о нем; и если нас останется на свете совсем немного, тех, кому не нужно напоминать о том, что был такой-то, то это уже хорошо. Я, например, по гроб жизни не забуду Александра Николаевича и буду свято нести в душе память о нем, только вот звенеть об этом я не хочу, ибо считаю, что истинное горе не терпит суеты, оно, само горе, целомудренно, а в печали есть вечная мука, сладость и горечь которой строже делают собственную жизнь и снимают с нее, как коросту, многие мелочи и скверну.

Случилось так, что вскорости после смерти Александра Николаевича в Свердловске умер литератор, который начинал вместе со мною, еще в городе Чусовом. У него осталось пятеро детей, старуха мать, у которой он был единственным сыном, и мы получаем от жены покойного письма, полные горя и страдания, но нет в них истерического надрыва, нет заботы о том, чтобы скорее раззвонить, разворошить его архив, рассовать его и как бы уже вторично навсегда похоронить близкого человека.

Я говорю Вам жестокие вещи и долго не решался их говорить, но... но иначе я не умею. И слишком мне не хочется, чтобы Александру Николаевичу было неспокойно на том свете. Он заслужил по-

кой многими мучениями, вынесенными при жизни, и не только литературной...

Что же касается сборов денег на памятник, то, как только возвращусь из деревни, немедленно пришлю Вам посильную сумму из своих средств. Думаю, что сможет это же сделать и Валя Сорокин, редакция «Молодой гвардии», «Знамени» и другие друзья Александра Николаевича, в том числе бравые полковники из Воениздата, которым Александр Николаевич не раз помогал. Если они, конечно, не забыли его добра, хотя им и свойственно больше думать и заботиться о себе.

Будьте здоровы.

Виктор

25 сентября 1978 г.

Дорогая Аннета!

Вот и подходит к концу так долго и трудно складывавшаяся работа — сегодня я перелистнул последнее ко мне письмо Александра Николаевича и словно бы заново пережил прошлое. Осталось написать несколько конечных главок, и черновик будет готов. От черновика до конечного варианта, разумеется, путь еще долгий, но главное сделано, книга (примерно листов на 10-12) под названием «Зрячий посох» скомпонована, собрана в кучу и конструктивно выстроена.

Не знаю, ругать или хвалить дождь. Я забрался в деревушку с целью — передохнуть и потихоньку писать об Александре Николаевиче, но выхода из избы почти не было — осень и льет, кругом сыро,

грязно, и я почти за месяц нагрохал целую книгу, аж руки дрожат.

В конце месяца я отдал на машинку черновик и сам по делам слетал в Сибирь — где-то в ноябре, в конце, буде жив-здоров буду, я дам тебе читать рукопись, ибо есть в ней много того, что вызовет, не может не вызвать твои замечания и даже возражения, и надо нам вместе уточнить и снять, прежде, чем сдавать книгу в издательство. Пока же я больше писал книгу «для себя», ибо сколь ни пробовал «для других», столь она не шла у меня. Видимо, характер наших отношений с А. Н. не допускал и не допускает какого-то умалчивания и неискренности. Но об этом потом. А пока порадуйся вместе со мною — работа была очень сложная, тяжелая, да и впереди еще масса труда.

Напиши мне, пожалуйста, будешь ли ты в конце ноября дома? Чтоб я мог приехать надежно. Желаю тебе, Юре и маленькому Саше доброго здоровья!

Ваш — Виктор Петрович

Очевидно, октябрь 1978 г.

Дорогая Аннета!

Ну вот еще один заход на рукопись закончил. Использовал я часть воспоминаний о Фадееве. Сейчас хочу дать прочесть рукопись К. М. Симонову. Мне кажется, без его ведома это делать (печатать) незаконно, ведь много о нем и про него.

Все, что ты пометила карандашом сомнительного, я снял. Хотя бы об этом не беспокойся.

Усталые, оба больные, едем с М. С. 15-го в Польшу. Я на месте боев «отдыхать», а Маню везу от судьбы и детей, а то свалится. Вернемся перед праздником. Много не пишу, очень болит голова. Извините! Я зайду к вам, как у меня будет продых!

Поклон Юре и Саше — всех вас целую — Виктор Петров.

Рукопись пока не стала толще, к моей радости, но полнее, интереснее и... острее сделалась. Никак я себя за рукав не могу удержать. Ну в редакциях помогут...

Ваш В. Астафьев

14 октября 1979 г.

Дорогие Аннета, Юра, Саша!

Я не так давно отправил вам 1-й том своего собрания. Надеюсь, получили? Остальные тома пришлю по мере выхода.

Тут и ваше письмо пришло, и я понял, отчего не мог вам дозвониться, будучи в Москве.

Юре я не ответил, наверное, по причине загруженности — все лето пробыл в Сибири, и потом началось — сперва умерла сестра жены на Урале, затем 5 сентября, у нас уже, дома, скончался мой отец. Человек он был старый — 78 лет, прожил бурную жизнь, много пил и всего много понаделал, а все равно жалко. Были и другие неприятности семейного порядка — вы же знаете, что у русских почему-то они бывают чередом, как из пулемета. Все это выбило из

колеи. И вот теперь только начинаю водить рукой по бумаге. Но у нас погода...

В Москве летняя, а у нас выпал снег чуть не до колена и теперь лежит, преет — туманы такие, что противоположного берега реки не видать. И каплет, каплет повсюду. Для меня, пневмоника, это самая тяжелая погода и пора нелегкая. Состояние уже тяжелое очень.

Уехали из города, все же здесь русская целина и деревянная изба, дышать суше. Из избы я почти не вылажу.

Со «Зрячим посохом» дела сложные. Вероятно, в ближайшее время мне ее не опубликовать — такие требуются кастрации, что это неприемлемо ни с какой стороны. Да и устал я от кастраций-то, пусть лучше лежит пока книга.

Весной, словно чувствуя, что Константина Михайловича скоро не станет, я дал ему рукопись. Он ее очень быстро прочел и, несмотря на болезнь, попытался даже кое-что добавить, надиктовал страниц пять, но отъезд помешал ему (он уезжал в Гурзуф в тот же день), мы надеялись еще встретиться и поговорить. Не довелось... Очень жаль!

Книга Константину Михайловичу очень понравилась.

В «Современнике» у меня в производстве книга моей публицистики и называется она «Зрячий посох», а от «посоха» там идет всего 12 страниц, рукописных. Но, может, туда дать хотя бы в куче все, что было писано вразброс, в разные годы, а книгу об А. Н. Макарове все одно когда-то напечатают. Вот я поднакоплю сил, пройдусь еще разок по рукописи и

начну штурмовать журналы. Ведь всякий раз сил на «штурм» требуется больше, чем на само создание произведения.

Кланяемся всем вам и целуем вас я и Мария.

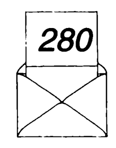
31 марта 1980 г.

Дорогая Аннета!

Письмо твое получил и спешу ответить, а то отложу и... с приветом! Ни с чем уже не справляюсь, и работать ладом не работаю, и без дела не сижу.

Зима плохо прошла, по очереди с Витей болели мы, оба простудные, я так месяцок и в больнице отбухал.

А книгу, Аннета, я не могу нигде напечатать. Получилась метаморфоза — у них в «Современнике» печатается книга публицистики (должна печататься, но пока еще цензура не подписала и подпишет ли?), оттуда повесть «Зрячий посох» выпала, потому что не печаталась в журнале, а название книги надо оправдывать. Вот мы и дали несколько страниц из «Посоха» в виде предисловия или пролога, и тем временем редактор, шибко пьющий малый, всадил в план и заказал оформление с названием «Посох памяти», так и осталось, менять уже поздно. И смех, и грех, и материться я уж не могу, а порой от бессилия тупость и равнодушие на меня наваливаются. Книгу же «Зрячий посох» прочел К. М. Симонов, ему очень понравилось, и он даже надиктовал послесловие, довольно необычное. Конечно, «Посох» можно напечатать хоть сейчас, да для этого кастрировать надо рукопись. И ладно бы мой текст, черт с ним,



чего-то еще напишу, но Александр Николаевич уж ничего не напишет и править его письма я не дам, а так не скоро пойдет книга, ой не скоро! Отрывки были в «Смене», будут в альманахе «Отечество», даже, быть может, проскользнет кое-что в газете, но и только.

Это не касается книги публицистики, ибо ежели Бог даст ей быть напечатанной, так и пришлю.

Вышел 2-й том и на выходе 3-й собрания сочинений. Как лавку отремонтируют на Кузнецком, так и выкупите, а то закажешь. Вот какие дела. Собираюсь ненадолго на Урал и в Сибирь, в Перми наша невестка Ольга под машину попала, всю ее, бедную, изломало.

Юре и Сашеньке поклон от всех наших.

Кланяюсь — Вик. Петрович

28 июля 1981 г.

Дорогие Аннета! Юра! Сашенька!

Давно уже собираюсь вам написать, да написало-то мое все занято пустяками. Письмо твое, Аннета, пришло, когда я заканчивал еще один заход на «Зрячий посох» — рукопись выросла на 100 страниц и ровно на 100 сажен отдалилась от того, чтобы быть напечатанной, пока я и собираюсь предложить ее «Новому миру». Но вот пока собирался, помер Сергей Сергеевич*, а кто будет? Бог весть. И будут

* Сергей Сергеевич Наровчатов.

ли у меня такие же добрые отношения с новым редактором? Вон с «Нашим современником» я вдрызг рассорился и ушел из редколлегии. Политиканство настолько заело Викулова, что журнал сделался вроде областного альманаха с девизом: «Кушать подано!»

Я в такие игрушки давно уже не играю.

Прошел год, как я на Родине. Все еще устраиваемся, и конец-то не особенно виден. Много современной скотине-человеку нужно, пока он живет или даже доживает. Вот гараж строят уже полтора месяца, ибо купил машину, а ее некуда ставить. Кроме «Посоха» делал «Затеси», ибо за крупную вещь нет времени приняться.

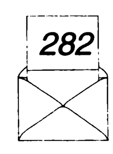
Режиссер Таланкин сделал фильм «Звездопад» по мотивам моих вещей. Я не видел, а М. С. видела и говорит, хорошо. Осенью он, фильм, должен выйти на экраны — посмотрите.

М. С. теперича со мной телом, а душой с внучатами и детьми в Вологде.

Когда я был на съезде, раза два набирал ваш телефон, но все днем, ибо вечером дыхнуть не давали, и оттого не дозвонился.

В сентябре (начале, быть может) будем в Москве, вместе с М. С., и я попробую до вас дозвониться. Может, и повидаемся, а пока все ваше семейство обнимаю, целую. Здоровы все будьте!

Ваш Виктор Петрович



2 ноября 1981 г.

Дорогая Аннета!

Не вышло у меня встретиться с вами, когда я был в Москве с этой книжной выставкой. Днем маленько ходил по выставке и чего-то кому-то говорил или отвечал на вопросы, чаще всего дурацкие, а вечером лежал пластом, болели ноги. Как и всякий фронтовик-окопник, уже положил на себя целый клубок болезней, и вот еще начали болеть суставы ног, а иногда и рук. Ну я, конечно, рукой на руки махнул, а как с ногами? Приехал, пожаловался врачу, а она мне тут же дала лекарство, я его попил, бруфен называется, и лучше стало, но у нас ныне ранняя осень и вот начала донимать пневмония...

А почта все копится и копится. Но вот пора и с праздником поздравлять, что я и делаю с удовольствием, и не раз желаю тебе, Саше и Юре всего, чего желают добрым и родным людям, прежде всего — здоровья.

Работа над «Зрячим посохом» близится к концу, книга теперь стала не только об Александре Николаевиче, но и о литературе и о времени нашем, и это не приблизило ее «к свету», а отдалило от него, ибо живем-то мы в подлое время. Осталось мне написать последний кусочек о встрече с Панферовым (о Твардовском, Симонове, Смелякове я уже написал), и книга будет закончена.

Конечно, мне хочется рукописный текст вам подарить, и Марья моя и сама теперь пишет вовсю, да и дом. Дела и заботы ее заедают, и я вспомнил, что ведь ты и сама хорошо печатаешь, так, может, я за-

еду иль заброшу экземпляр после машинки (с лета половина рукописи на машинке у Марьи) и ты себе нашлепаешь экземпляришек? Да может, и два — друг мой, Капустин, тоже желает иметь экземпляр. Напиши мне, как у тебя со временем?

Быть может, в ноябре поеду в Австрию и если в Москве задержусь — позвоню.

А пока целую вас и кланяюсь вам.

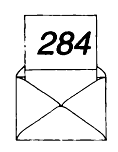
Ваш Вик. Петрович

8 сентября 1982 г., Красноярск

Дорогие мои Аннета! Юра! Сашенька!

Спасибо за весточку. Я как раз заканчиваю еще один — думаю не последний! —заход на «Зрячий посох», все же он держит меня «на привязи», не дает полностью отдаться другой работе, да и в «Новом мире» ждут, почти ежемесячно напоминают звонками. Конечно, рукопись сделалась более полной, но и менее проходимой. Всем, кто ее читал, она очень нравится, и все советуют мне уступить ради памяти покойного, ради главного, что сейчас так нужно в нашей, опять в разброд и безликость впадающей литературе, где снова открывается барахолка и Евтушенко успел уже вынести на нее старое, даже не заштопанное барахло в виде нескладной, неуклюжей поэмы, претендующей опять на остроту, а острота эта вроде гвоздя в заборе, об нее только штаны рвать.

Но опять «уступить»!? — ах ты, господи! Однако



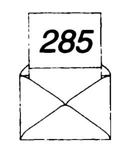
ж и уступлю — чего делать-то, но уступлю «себя», а А. Н. не дам тронуть, пусть лежит в столе рукопись. Три отрывка посылал я по просьбе «Лит. газеты» к юбилею А. Н., и все три мне вернули со сконфуженными извинениями, а я ведь собирал отрывки «юбилейные», помягче. Но однако Аннинский очень хорошо написал о А. Н., и мне его статья здорово пригодилась.

Двухтомник присылайте — не все же книжки воруют. Я в Москву соберусь не скоро. Вот уже месяца полтора, как меня мучает ревматизм, «подновил» его на рыбалке, бродя босым в любимом Енисее. Ну, а раз суставы болят, то и сердце ноет. Однако я работаю, и когда увлекусь, не очень и ноги слышу, а вот потом...

Лето и осень у нас стояли хорошие. Урожай на все прекрасный, хлеба наросло до 30 центнеров с гектара, но к уборке, как всегда, не очень готовы и идет она судорожно. Мы ездили за грибами недавно, привезли столько, что М. С. ночь не спала, перерабатывая их.

Недавно на недельку залетели к нам «по пути» с юга Ирина с Витенькой, порадовали нас, и нам стало веселее жить. Скоро, если совсем ноги не разболятся, полетим с М. С. на Восток — учить людей писать и главное смотреть. Приглашали меня поехать в октябре в Западный Берлин, но я не поехал, побоялся, что, как по-настоящему прихватит? Это за рубежом-то, да еще у немцев! Дома лучше.

Целуем вас всех я и Мария



Вероятно, февраль 1983 г.

Дорогая Аннета!

Вот предлог написать вам и поздравить с началом весны. Доброго здоровья всем вам! Мы прожили и перевалили тяжкую зиму — два инфаркта перенесла Марья Семеновна. Едва уцелела.

Я был в бегах и хлопотах. Ничего не сделал за зиму, никуда не ездил.

Есть «прогресс» — журнал «Москва», кажется, берется печатать «Зрячий посох», не испортив его кастрацией, что и как будет, сообщу дополнительно.

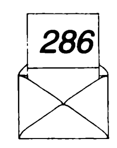
Поклон Юре и Саше.

Кланяюсь. Виктор Петрович

Сентябрь 1988 г.

Письмо получил. За замечания спасибо, внесу в верстку книги. Есть и еще мелкие накладки, вроде той, что еврей Рыжик, удравший со всей своей группой в Израиль, с помощью машинисток сделался русским Рыжих и т. д. Получил я письмо от двоюродной сестры А. Н. из Кимр и дал ей ваш адрес, судя по письму, очень славный человек. А сам-то я болею и пока способен только на открытки и не более. Весна. Опять мои легкие захренели. Настороженно жду критику на «Посох», евреи уже «от книжности» говорят, я нарочно оставил «про Каверина и Эренбурга», а мог бы... Нет, не мог и не смогу делать то, что они делают...

Кланяюсь, обнимаю — Виктор Петрович



Конец 1988 г.

Дорогие Аннета! Юра! Саша!

Ну вот, очень быстро и в приличном виде вышла книга «Зрячий посох»* (вот бы так при жизни везло Александру Николаевичу) — ставлю вам первый автограф и желаю доброго здоровья, а сам уезжаю в Киев на встречу ветеранов дивизии, поеду по местам боев («отдых» будет еще тот!), но для работы нужно. Мы живем потихоньку. Дети в Вологде. Поболеем, повздыхаем и дальше воз тянем. Надо детей растить, что сделаешь?

Обнимаю, целую — Виктор Петрович (а селение на окраине этого заповедника**).

21 ноября 1990 г.

Дорогие, милые мои — Аннета! Юра! Саша!

Получил письмо, как всегда кланяюсь и благодарю за весточку. 10 декабря съезд писателей, 17-го съезд депутатов. Будет пауза между съездами и можно (пора!) съездить в Калязин, «в гости» к Александру Николаевичу. Вот я и пишу, чтобы вы как-то подготовились (на работе же!), освободились дня на два-три, а я вам еще позвоню из гостиницы. Ладно? Вот и договоримся тогда о делах.

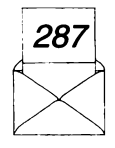
Обнимаю, целую.

Ваш Виктор Петрович

---

* Книга «Зрячий посох» вышла в издательстве «Современник» в 1988 г.

** Открытка с видом заповедника «Столбы».



12 июня 1991 г., с. Овсянка

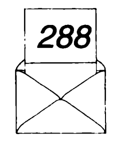
Дорогие Аннета! Юра! Саша!

Когда я был в Москве, а было это накануне Нового года, и захотел побывать у вас, то мне сказали, что Аннета лежит в больнице после тяжелой операции. Потом кто-то передал, что все обошлось.

Я надеялся в мае быть на съезде писателей и оттого не написал вам. К этой поре уже не мог без отвращения смотреть на бумагу и чернила. Пропорхав осень по заграницам, а затем отупев на двух съездах, я лишь в феврале смог продолжить работу над романом. А романы, да еще толстые, сложные, надо писать молодому, когда у мужчины все работает, как надо, и от сил, его распирающих, брюки рвутся. В этом смысле Шолохов просто молодец, написал свой роман в 26 лет, и оттого книга его так мускулиста, цветаста, вольна, озорна и трагична. Все в ней в полную мощь таланта звучит, плачет, и поет, и рыдает даже. А тут пишется натужно, трудно и получается более чем нудно и печально. Еще не закончил первую книгу, а уже в ней разочаровался, глядеть на нее не могу, но надеюсь, что вторая и третья книги будут страшнее и веселее, если нашу прошлую жизнь можно счесть веселой.

Вот уж месяц я в деревне. Один. Была Полька, внучка моя, но с нею можно сосуществовать, если за стол не садиться, а бегать и искать ее по деревне да думать — не залезла ли она в ледяную воду Енисея.

Весна-то у нас была длинная, нудная, холодная, и мы лишь недавно тут управились с огородом. Он,



огород, у меня и не велик, я вокруг него насадил лес и дикие цветы, и чем лучше лесу, а он уже хорош, тем хуже овощи. Но овощ, слава Богу, у нас еще можно купить, и я сажу больше для того, чтобы свежье было под боком, но надо полоть, поливать, топтаться.

Я потоптался, наладил сон, и то ведь 67 стукнуло, возраст серьезный, и мало ли что.

Аннета, мне понадобилось восстановить в памяти кое-что из моего уральского житья-бытья, и я подумал, что в этом мне могли бы помочь письма к Александру Николаевичу. Мне говорили, что в вашем институте возможно их переснять или как там мудрено это дело называется. Если твое здоровье ничего и если не очень тебя это затруднит, сделай милость, пересними мои письма и пришли мне заказной бандеролью.

Дело в том, что переносимый какой-то тайной литбандой съезд наш едва ли состоится в июле и значит до осени мне в Москве не бывать, чему я весьма рад. И может, удастся здесь поработать и даже поездить по лесам, по долам.

Дети у нас растут. Витя кончил 9-й класс, учится водить машину, Поля перешла во второй класс, но это бабушка перешла, Поля не очень склонна баловать нас и советскую школу своими успехами. Сама бабушка, которой стукнуло 70 лет, сдает на глазах и что будет с нами, если она рухнет, я даже думать боюсь.

Простите, что редко пишу, зато старательно, чтобы разобрали хотя чего-то в письме. Поверьте мне, со всеми близкими мне людьми так. Приходится

писать кому попало и что попало, а свои-то, думаешь, стерпят. Вон фронтовых братьев своих совсем забросил, даже с праздником Победы не поздравил. Безобразие, конечно, незамолимое и непростительное, да что же поделаешь-то?

Коли так долго я не буду в Белокаменной, сходите к Александру Николаевичу и Наталии Федоровне на могилку, отнесите по цветочку от меня и поставьте в церкви по свечке.

Кланяюсь вам, обнимаю, целую и желаю всем доброго здоровья.

Храни вас Бог!

Всегда вам преданный Виктор Петрович
(В. Астафьев)

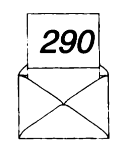
19 декабря 1991 г.

Первая страница письма не сохранилась.

...Теперь вот и продолжение на бланке нашей газеты, ибо на иной бумаге чернила не расплываются и рвется она под моим неистовым пером.

Аннетушка! Давно от вас ничего нет. А вот В. Адуева, старушка, соседка ваша по дому на Хорошевском шоссе, письмо прислала, книжку попросила, и я послал.

Как я писал вам, или подумал писать и заплелся в делах, материал Натальи Федоровны прочел и мне показалось его мало, он не закончен. Добавить бы писем от мужа к жене и от жены к мужу или еще бы записей, и я готов этот материал сформировать по-жур-



нальному и написать к нему представление.

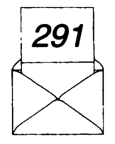
И еще! Напиши мне адрес школы, где находится музей Александра Николаевича, и я готов перевести туда премию на устройство и содержание, ибо книга-то написана Александром Николаевичем, а моя лишь фамилия значится сверху, поскольку я все еще живой, иль лучше нам съездить в Калязин вместе, когда будет съезд СП, если он все же состоится и не все самолеты сядут на землю из-за отсутствия бензина?

Я летом закончил «Последний поклон», заключительные главы идут в № 2-3 «Нового мира», а вот роман стоит, что-то не работается, на душе тошно, и я иногда думаю, что и хорошо, что А. Н. не дожил до наших дней. С его болезненной привязанностью к родной и любимой партии и с обостренным почти трагически чутьем к тому, что творится в нашем литературном доме, совсем худо ему было бы. А если б он узнал, что я из Союза писателей вышел (из старого российского) и ни в какой более входить не собираюсь, то и вовсе впал бы в уныние и транс. Видно, столь любимая им и мною фраза из любимейшей книги, перешедшая туда из, кажется, Ветхого Завета — «и тогда живые позавидуют мертвым», — сделалась вовсе нешутливой.

Мы — пока дышим, движемся, копошимся, растим детей и, как у всех, свои беды, свои хлопоты, свои думы.

Теперь наш междугородный звучит ныне так: 45-49-84, знаешь, набирать по автомату надо: 8-391-2-45-49-84.

Обнимаю, целую — Виктор Петрович



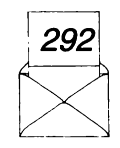
15 февраля 1992 г., Красноярск

Дорогие Аннета! Юра! Саша!

Письмо ваше получил посреди самой напряженной работы над рукописью, и я со дня на день надеялся ее прикончить, но романы надо писать, как и женщин любить, и детей плодить, в молодости, на старости лет все это требует особого напряжения и сверхусилий.

Вот только теперь я отдал рукопись на машинку, полагая, что сделал предпоследний заход на первую книгу. А ведь еще две! Хорошая все же пословица русская, дурная голова ногам покоя не дает. Зачем я связался с этой работой? Кому она нужна? Мне нужна! Для спасения от этой подлой жизни, вот и все тут объяснения и никаких тут ученых и красивых слов не добавишь, все будет от лукавого. Это желание уйти от черной действительности, вот бы сказочки писать, как называл все мои россказни Александр Николаевич, или для детей чего-нибудь романтическое, вот тоже противоречие, всю жизнь хотел писать для детей, а это значит для радости своей души, прежде всего, так не-ет, лешаки тащат в непроходимые дебри, в войну, в тайгу, к браконьерам и смертоубийствам. Чего там делать-то? Федор Михайлович все это описал, исследовал, и убивать стали больше, не мучаясь уже угрызениями совести, а на войне так и за героя ценится тот, кто больше убьет себе подобных и истребит больше мат. ценностей.

Вот третий день отдыхиваюсь после работы, хоккей смотрю по телевизору, музыку слушаю, прихо-



жу в себя. Умудрился еще на исходе зимы простудиться и последние дни работал, обливаясь соплями. Флобер вот, да и наш Пушкин слезами обливались «над замыслом» и над героиней погибшей. А тут тысячи трупов и вместо слез — сопли, тоже противоречие и особенность нашего передового творчества.

Аннетушка! Ты мне пошли все отцово, и рассказы, и письма, хоть 38 года, хоть другие, только ксерокопии пошли, чтобы не утерялись, и я из всех этих бумаг что-нибудь да и состряпаю. Да и пока Володя Крупин правит в «Москве», ему и отдам. А о том, что А. Н. посидел в таких почетных местах, как Бутырка и Лефортово... Сейчас этим гордятся, как наградой. Новодворская — хамка и демократическая примадонна, вон говорит: «Обратно хочу, там настоящая свобода», и вообще еврей, побывавший в этих заведениях, уже и сам на себя налюбоваться не может — герой да и только! А Александр Николаевич вон умалчивал об этих ценных моментах в своей жизни.

Мы живем по-прежнему, но все больше устаем, все чаще лечимся. Внуки растут трудно, особенно тяжело со старшим, в школе съехал на 2-1, говорит, что все надоело, утомлен он жизнью, ленив, сыт, гладок, груб. Хотим посылать на работу, может, пообтешется — весной, в середине апреля, ему 16 лет. Мы с Александром Николаевичем в этой поре уже пытались добывать свой хлеб, пусть и он попробует, иначе как его воспитывать, лупить — себе дороже, он утрется и спать ложится, а бабушка рыдает, дедушку трясет, того и гляди Кондратий хватит.

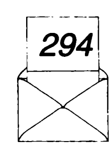
Скорее бы весна. Да вот сейчас тепло и солнечно, а весной-то русская природа, как пьяный русский мужик, путнюю пору проспавший, начнет с похмелья куролесить. В прошлом годе так-то прокуролесила и апрель, и май, и июня прихватила, а там и до августа продыдыкала, ане осенью спохватилась природа, давай греть, сиять, хвостом вилять, а тут хлясь на цветущую картошку, на кривые огурцы какой-то заразой с неба, и померло все во младости, и гниет картошка по подвалам... Ох-хо-хо-ооо! И Господь-то против нас. В Москву мне пока путь не лежит, съезда, видать, не будет, он затянулся и стал стоить 15 миллионов, а где их взять? Что вождь Марков накопил, помощники и последователя вождя промотали, борясь за свободу слова и действий в обращении с лит. хозяйством. Да и хер с ними! Мутное время и выталкивает наверх всякое мутное говно, которое о себе думает, что оно золото, хотя золото и должно тонуть в силу своего веса, а говно по этой же причине плавает...

Авось и мы со временем всплывем!

Аннетушка! Не затягивай с бумагами, ладно? У меня весной и летом, кажется, будет посвободнее, вот я и займусь этим делом.

Обнимаю, целую вас всех. Все гляжу в телевизор на волосатых муз-бесов, пытаюсь Саньку среди них высмотреть, но они ж все на чертей похожи, и где баба, где мужик — не разберешь. Пусть Санька на гитаре иль еще на чем крест православный изобразит, чертей отпугнет, и я его угляжу...

Ваш Виктор Петрович (В. Астафьев)



13 ноября 1992 г.

Дорогая Аннета! Юра! Саша!

Простите, что долго не подавал своих вестей, все дела-делишки. Но вот наступила благостная пора, попал в больницу и тут отлеживаюсь, делаю разные запущенные дела. Прочел еще раз и рукопись Макаровых*. И хорошо, что я не спешил с ней, надо переждать всяческую смуту в стране и российских башках, дождаться времени, когда потянет усталых от потрясений и новшеств русских людей читать ранешное и про ранешное.

Словом, сложив композиционно рукопись, как мне кажется, последовательно, я со своей сопроводиловкой отправил ее в «Знамя», которое все же читабельней некоторых журналов да и Александру Николаевичу кое-чем обязано, и написал им твой адрес и телефон с тем, что если рукопись им подойдет, они бы консультировались с тобою.

Вот о деле и все. Мы живем, как и все, в тревогах и заботах. Ребята растут и с ними все труднее, а я пишу из больницы, где поотдыхал с очередным обострением в легких, но сегодня уже выписываюсь и, если ничего не стрясется, примусь за вторую книгу романа. Первая печатается в № 10-12 «Нового мира».

У нас было хорошее урожайное лето, и долго стояла прекрасная золотая осень. И вот наступила зима, и как подумаешь, какая она длинная, так тоска

---

* Речь идет о записях рассказов бабушки А. Макарова.

и разбирает. Буду спасаться работой, это мне всегда помогает и спасает от всех бед и горестей. Здесь, в больнице, перечитал Бунина и Гоголя. Хорошо писали мужики, умели заставить задуматься и словом утешиться. Царство им Небесное! Доброго вам здоровья, Хлеба на столе и Бога в душе.

В Москве не был очень давно и что-то не тянет.

Кланяюсь, обнимаю вас — Ваш Виктор Петрович

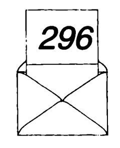
(В. Астафьев)

21 апреля 1995 г., Красноярск

Дорогая Аннета!

Получил твое письмо с поздравлением. Спасибо! Праздники-то уже печальные получаются, а вот весна, как всегда, радует и обнадеживает. Собираюсь в тайгу забраться на все эти праздники. В тайге я еще чувствую себя, как в своем дому, и хоть на время избавляюсь от суеты, тревоги и всяческих душевных разладов. Очень ты меня расстроила сообщением о болезни Юры. Ведь он в самой середине мущинских годов, жить да радоваться бы. Мы вот уже стары, так и болеем по переменке, да все затяжней и както пугающе бесперспективно. Всякий раз при обследовании чего-нибудь добавляется к и без того длинному списку хворей.

Но я продолжаю работать, мараю бумагу. Написал вот горькую повесть о судьбе инвалида войны — «Знамя» № 4 и знаю, Александру Николаевичу она бы легла на душу, он бы только сказал: «Хулига-



нишко вы, Вик. Петрович», но к роману у него было бы отношение неординарное и прежде всего потому, что на собратьев его по любимой партии я навалился всей ненавистью, скопившейся во мне и в народе.

Сейчас у меня в работе два рассказа о несостоявшейся, по причине войны, любви. Я все еще каждую начатую и законченную вещь рассматриваю глазами и строгим вкусом покойного, незабвенного друга моего старшего.

Думаю, что в зрелом возрасте, в наиболее зрелых вещах мы бы в чем-то и разошлись, но в жизненной позиции — никогда.

У меня и до сих пор нет расхождений с людьми интеллектуально развитыми, умными, а вот с дураками и лютыми демагогами — беда-а. Был у меня в деревне в гостях А. И. Солженицын, и через пятнадцать минут я чувствовал себя в разговоре уже свободно, понимал его с полуслова, хотя в чем-то согласен с ним не был, как и он со мной. Но умных людей я предпочитал и предпочитаю слушать, а время на споры тратить потом, не губя его в такое краткое время, предоставившееся при встрече с редкостно умным и значит полезным всем и мне тоже человеком. У Твардовского я был минут пятнадцать, а разговор его полезный мне — на всю жизнь богатство мое. С Солженицыным же проговорили мы почти три часа и не заметили того.

Когда получал премию «Триумф», звонил я вам, но неудачно, а теперь и не знаю, когда буду в Москве. Но даст Бог, увидимся.

Поцелуй Юру и Саню, а я целую тебя и еще раз желаю вам доброго здоровья.

Преданно ваш — В. Астафьев

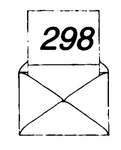
12 декабря 1995 г.

Дорогие Аннета! Юра! Саша!

С Новым вас годом. Пусть он будет не хуже нонешнего, на лучшее-то уже надежды нет. Здоровы вы будьте, пусть хоть на хлеб насущный Бог средствий отпускает, и хоть какой-то покой в душу вселяет, и хоть маленькую надежду и просвет впереди оставляет.

Рад был твоему, Аннета, письму и тону его, побабьи русскому спокойствию и покорной обязанности нести жизнь такой тяжести и объема, каковую Бог определил. Я всегда себе говорил и говорю: «Есть люди, которым тяжелее и хуже, чем мне...» Хотя вот осенью подходило — хуже некуда.

Порешил я, значит, после романа и повести, а это более тысячи страниц, передохнуть и пофилонить. Уехал в деревню, спрятался в избе своей, топлю печку, кашу варю, воздух порчу, не убавляя громкости, — никто мне не мешает, птички поют, гнезда вьют, лес растет — ели уже выше дома, цветы цветут, я в земле копаюсь, когда захочу. Потом жара наступила почти московская, все бегут в огород, поливают, а я по лесу своему хожу в трусах, пузу чешу, комаром укушенную, и любуюсь, как у меня все и без догляду, и без полива растет, и наросло с двух ведер пять кулей картошки, потому как


овощь в тени деревьев, и ее не пекет. Мои односельчане — гробовозы ахают и говорят: «Ну не зря покойница, евонная тетка, молвила, что он слово знает!» А я говорю: «Знаю, но не скажу, потому как колдовское слово только по родству передается, а родня моя вся повымерла...» А ведь выпадет сырое лето, и ни хрена у меня из овощи не вырастет, все в дудку уйдет. Ну это когда еще будет, а тут я взорлил, на девок тенденциозно начал поглядывать, намечал уж и позвонить которой, стишки ей вечерком почитать. Ах, не злоупотребляй милостями господними и не добавляй, помни о летах своих и не добавляй грехов себе, они и без того душу гнетут да к земле тело пригинают — словом, пошел в баню, помылся, простудился и такое возобновил в легких воспаление, что едва живехонького в город приволокли, на койку больничную швырнули, и провалялся я так всю-то золотую осень, вместо того чтобы быть в тайге, набираться впечатлений, бодрости и соков на всю зиму. А тут Марья Семеновна моя поехала в деревню за моими бумагами и необходимыми вещичками, да и попала в автоаварию, которых у нас, как и всюду, очень много. Поломало ей руку, левую, «рабочую» — это после того, как она все лето билась с ремонтом квартиры и собиралась передохнуть. Весь дом, сообщения между домом и больницей, магазин, почта и прочее легли на плечи внучки, еще жидкие, ведь ей только 12 лет. Молодец она у нас! Характером легкая, в башке ветер и звон, учится вполсилы, читать не любит, музыку бросила, только б прыгать и скакать, но как беда пришла, все тяжести взвалились на нее, даже варила

и стряпала чего-то, и стирала, и гладила.

Я вот за это за все решил ее в Таиланд на каникулы свозить, пусть покупается, поест фруктов и мороженого, пока дед живой, тем паче, что у нас есть прямой туристический рейс самолета туда, да и я погрею свои легкие там, а то впал в депрессию, захандрил, на бумагу и чернила смотреть не мог. Лишь недавно взялся за старую рукопись, правил, правил и понял, что ее переписывать надо. Потом, быть может, напишу детскую повесть и постепенно подберусь к 3-й книге о войне.

А портрет Александра Николаевича висит у меня на стене, в кабинете, я его вырезал из книги, поместил под стекло и в рамку, но если ты пришлешь фото, я заменю его, книжный верну в двухтомник, а фотку в рамку помещу.

В Москве я с прошлого года, с премии «Триумф» не был и не очень тянет. Разве что желание осталось сходить на могилку Александра Николаевича и наконец-то съездить с Вами в Калязин. Более, как ни странно, никаких дел и привязанностей в Москве нет.

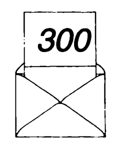
Ну вроде бы и все пока.

Преданно — В. Астафьев

26 октября 1996 г.

Дорогие Аннета! Юра и Саша!

Поклон вам из Сибири, где наступает зима и я уже, как и всякую последнюю осень, дежурю в больнице — обострение в легких опять и добыл я



его на рыбалке — 9 (девять!) хариусов добыл и одно обострение, по-моему, совсем неплохо. А ездил, точнее, летал и на моторке ходил по тем местам, где заканчиваться роману, если до него дело дойдет. Здесь, в Красноярске, началось издание моего пятнадцатитомного собрания сочинений и девять томов мы с Марьей Семеновной уже сдали, первые тома набираются. Но деньги на издание порциями идут из федерального бюджета, а в стране вон чего делается, и я как-то уж и не верю, что издание это осуществится, однако очередные тома мы с М. С. готовим. Как говорили русские крестьяне: «Помирать собирайся, а жито сей».

Пишу тебе на бумаженции со стародубом, изготовленным к конференции милыми бабами из газеты «Красноярский рабочий», хотели таким вот образом выразить свои добрые отношения и чувства ко мне. Жаль, что тебе, Аннета, не довелось побывать на моей родине, много славных и достойных людей приезжало. Но если вакханалия эта, по-русски бардак, совсем не захлестнет Россию, может быть, конференция повторится на будущий год, но уже в более подходящее для этого дела время — в октябре.

Живем мы, как и жили, в трудах и заботах. М. С. все чаще сваливается — сдает сердце, болит истоненная туберкулезом нога, голова болит после энцефалита, а в прошлом году она в автокатастрофе поломала свою «рабочую» левую руку — и она болит. Мои болезни, среди которых основная болезнь — дурь, пустяки по сравнению с ейными, но вот легкие меня мучают и докучают. Когда-то все почти

родичи мои умирали от легких тяжело и мучительно долго. Но я не тороплю крайние сроки, хотя и помню, теперь уж постоянно: «Легкой жизни я просил у Бога, надо б легкой смерти попросить» — пронзающе вещие слова. Многие мудрости — многие печали — ох, как трудно живется сейчас умным людям в этом разбежавшемся зверинце. Думаю, как тошно было бы сейчас Александру Николаевичу, с его умом и пронзительным пониманием времени и чувством чужого горя, чужой боли, да еще с непременным разочарованием в коммунистических идеях, выродившихся в бесовство и какую-то черную дыру, в которую сползло, улетело, опрокинулось вместе с телегой все то немногое доброе и разумное, что затевалось настоящими коммунистами, выстрадавшими мечту о лучшей, справедливой жизни, от которой осталось то, что мы сейчас имеем, — черепки от партийных унитазов, бутылочные осколки и все еще грозно громыхающие булыжники пролетариата. Царство ему небесное. Вовремя, быть может, прибрал его Господь, только вот муки-то за что он принял? За слепую веру не в то и не в того, в кого следовало верить? Оставим этот вопрос открытым, как говорили сподвижник А. Н. по партии, мы не пророки и не ЦеКа, мертвые нам неподотчетны, да и живые тоже.

Целую вас, держитесь — ваш Вик. Петрович

Содержание

Астафьев Виктор Петрович,
Макаров Александр Николаевич

ТВЕРДЬ И ПОСОХ

Переписка 1962—1967 гг.

Составители
Кутейникова (Макарова) А. А.
Сапронов Г. К.

Редактор *А. Гремицкая*
Художественное оформление *С. Элоян*
Техническое редактирование,
компьютерная верстка *Е. Бер*
Корректор *О. Самсонова*

ISBN 5-94535-053-2

9785945350533

Издатель Сапронов
ИД № 04332 от 23.03.01
664003 Иркутск,
ул. К. Маркса, 22, оф. 47,
тел./факс (3952) 25-84-83, 33-42-56
e-mail: bgvector@mail.ru

Подписано в печать 25.03.2005. Формат 70x100/32.
Бумага офсетная. Гарнитура Newton.
Усл. печ. л. 12,25. Тираж 3000 экз.
Заказ 831

Отпечатано в ОАО «Типография «Новости».
105005 Москва, ул. Ф. Энгельса, 46,
тел. 265-61-08, факс 265-54-18

